

ДЖЕК ЛОНДОН

МОРСКОЙ
ВОЛК

АУДИОТЕАТР ДЕМИДОВА

Джек Лондон

Морской волк

<https://litres.ru/74683719>

SelfPub; 2026

Аннотация

Литератор Хэмфри Ван-Вейден после кораблекрушения оказывается на шхуне «Призрак», где правит жестокий капитан Волк Ларсен. Чтобы выжить, ему придётся стать другим человеком. Роман Джека Лондона в новом переводе.

Содержание

ГЛАВА I	4
ГЛАВА II	16
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	27
ГЛАВА IV	44
ГЛАВА ПЯТАЯ	54
ГЛАВА VI	65
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	84
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	89
ГЛАВА IX	100
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Джек Лондон

Морской волк

ГЛАВА I

Я и сам толком не знаю, с чего начать, хотя иной раз в шутку виню во всём Чарли Фэрасета. У него был летний домик в Милл-Вэлли, в тени горы Тамалпайс, но жил он там только зимой, когда бездельничал и отдыхал от умственного труда за чтением Ницше и Шопенгауэра. Летом же он предпочитал изнывать от жары и пыли в городе и работать без передышки. Если бы я не навещал его каждую субботу после полудня и не оставался до утра понедельника, в то январское утро я не оказался бы в заливе Сан-Франциско.

Впрочем, судно было надёжное: «Мартинес», новый пароход-паром, совершал всего четвёртый или пятый рейс между Сосалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, накрывшем залив, но я, сухопутный человек, почти не тревожился. Помню даже то безмятежное воодушевление, с каким я встал в носовой части верхней палубы, прямо под рулевой рубкой, и отдался во власть туманной тайны. Дул свежий ветер, и какое-то время я оставался один среди влажной мглы. Впрочем, не совсем один: я смутно ощущал присутствие лоцмана и человека, которого принял за капитана,

в застеклённой рубке над моей головой.

Помню, я думал, как удобно это разделение труда: чтобы навестить друга, живущего на другом берегу залива, мне вовсе не требуется изучать туманы, ветры, приливы и судовождение. Хорошо, размышлял я, что люди становятся специалистами. Знаний лоцмана и капитана хватало на многие тысячи людей, которые разбирались в море и судовождении не больше меня. А я мог не тратить силы на изучение множества вещей и сосредоточиться на немногих, например на определении места По в американской литературе. Моя статья об этом, кстати, вышла в свежем номере журнала «Атлантик». Поднимаясь на борт, я проходил через салон и с жадным любопытством заметил полного господина: тот читал «Атлантик», раскрытый как раз на моей статье. Вот оно опять, разделение труда: особые знания лоцмана и капитана позволяли полному господину читать мои рассуждения о По, пока они благополучно везли его из Сосалито в Сан-Франциско.

Мои размышления прервал краснолицый человек. Он с грохотом захлопнул за собой дверь салона и тяжёлой поступью вышел на палубу. Я всё же мысленно отметил эту тему для задуманной статьи, которую собирался назвать «Необходимость свободы: в защиту художника». Краснолицый взглянул на рулевую рубку, оглядел туман, прошагал по палубе туда и обратно — судя по всему, ноги у него были искусственные — и остановился рядом со мной, широко рас-

ставив ноги. На лице его было написано живейшее удовольствие. Я не ошибся, решив, что жизнь его прошла в море.

— От такой вот погоды седеют раньше срока, — сказал он, кивнув на рубку.

— Я не думал, что это требует особого напряжения, — ответил я. — Кажется, всё просто, как азбука. Направление известно по компасу, расстояние и скорость тоже известны. Я бы сказал, здесь полная математическая определённости.

— Напряжения! — фыркнул он. — Просто, как азбука! Математическая определённости!

Он словно подобрался и откинулся назад, будто опёрся о воздух, не сводя с меня глаз. — А течение, которое сейчас несётся через пролив Золотые Ворота? — спросил он, вернее, рявкнул. — С какой скоростью вода уходит? Насколько нас сносит, а? Слышите? Колокольный буй, да мы прямо на него идём! Видите, как меняют курс?

Из тумана донёсся тоскливый звон колокола, и я увидел, как лоцман быстро вращает штурвал. Колокол, только что звеневший прямо перед нами, теперь слышался сбоку. Наш гудок хрипло ревел, и время от времени из тумана доносились гудки других судов.

— Это какой-то паром, — сказал мой новый знакомый, указав на звук справа. — А вот это слышите? В рожок дуют. Небось плоскодонная шхуна. Поберегись, шхуна! Ага, я так и думал. Сейчас кому-то жарко придётся!

Невидимый паром подавал гудок за гудком, а рожок над-

рывался, словно от страха.

— Теперь обмениваются любезностями и стараются разойтись, — продолжил краснолицый, когда частые гудки смолкли.

Лицо его сияло, глаза сверкали от возбуждения: он переводил для меня на человеческий язык речь рожков и сирен. — Слева паровая сирена разошлась. А слышите того, что будто хрипит? Похоже на паровую шхуну. Ползёт от мысов у входа в залив против течения.

Прямо впереди, совсем близко, раздался тонкий, пронзительный свист, словно свисток обезумел. На «Мартинесе» зазвонили гонги. Наши гребные колёса остановились, их мерный стук стих, потом возобновился. Тонкий свист, похожий на стрёкот сверчка среди рёва огромных зверей, донёсся из тумана уже сбоку и быстро слабел, пока не затих. Я взглянул на своего спутника в ожидании объяснения.

— Один из этих отчаянных катерков, — сказал он. — Ей-богу, жаль, что мы его не потопили, паршивца! Сколько от них неприятностей. И кому они нужны? Любой осёл сядет в такой и гоняет без удержу, свистит во всю мочь и требует, чтобы все вокруг береглись: он, видите ли, идёт, а сам смотреть по сторонам не умеет! Он идёт! И ты тоже изволь за ним следить! Право прохода! Элементарная порядочность! Они и слов-то таких не знают!

Его ничем не оправданная ярость меня забавляла. Пока он возмущённо шагал взад и вперёд, я вновь задумался о

таинственной прелести тумана. Она и вправду была: туман, словно серая тень бесконечной тайны, лежал над вращающейся крупицей Земли; а люди, крохотные сверкающие пылинки, одержимые безумной страстью к труду, мчались на своих деревянных и стальных конях в самое сердце тайны, вслепую пробирались сквозь невидимое, уверенно перекликались и звонили, хотя сердца их были полны сомнения и страха.

Голос спутника вернул меня к действительности, и я усмехнулся. Я ведь тоже блуждал на ощупь, воображая, будто ясно вижу путь сквозь тайну.

— Эге! Кто-то идёт прямо на нас, — говорил он. — Слышите? Идёт быстро. Так и несётся. Похоже, нас ещё не слышит. Ветер не в ту сторону.

Свежий ветер дул прямо на нас, и я отчётливо слышал гудок чуть в стороне и впереди.

— Паром? — спросил я.

Он кивнул и добавил: — Иначе не шёл бы так резво. — Он коротко хмыкнул. — Наверху уже забеспокоились.

Я поднял глаза. Капитан высунул из рубки голову и плечи и напряжённо вглядывался в туман, словно мог пронзить его одним усилием воли. На лице у него была тревога. Так же тревожно выглядел и мой спутник: он подошёл к поручню и с той же пристальностью смотрел туда, откуда приближалась невидимая опасность.

А потом всё случилось разом, с немыслимой быстротой.

Туман будто раскололся под ударом клина, и из него показался нос парохода; по обе стороны тянулись клочья тумана, точно водоросли с морды Левиафана. Я увидел рулевую рубку и белобородого человека, наполовину высунувшегося из неё и опиравшегося на локти. На нём был синий мундир. Помню, меня поразили его подтянутость и спокойствие. В этих обстоятельствах его спокойствие внушало ужас. Он принял судьбу, пошёл с ней рука об руку и хладнокровно отмерял мгновения до удара. Не меняя позы, он спокойно оглядел наше судно, словно определял точное место столкновения, и даже не обратил внимания на нашего лоцмана, который, побелев от ярости, крикнул: — Ну вот, вы и натворили дел!

Теперь, вспоминая это, я понимаю, что замечание было слишком очевидным, чтобы на него стоило отвечать.

— Хватайтесь за что-нибудь и держитесь крепче, — сказал мне краснолицый. От его прежнего бахвальства не осталось и следа; казалось, ему передалось то необычайное спокойствие. — А теперь послушайте, как закричат женщины, — мрачно добавил он, почти с горечью, как мне показалось, будто уже переживал нечто подобное.

Суда столкнулись прежде, чем я успел последовать его совету. Удар пришёлся, должно быть, точно в середину нашего борта: другого парохода я уже не видел, он вышел из поля зрения. «Мартинес» резко накренился, дерево затрещало и стало ломаться. Меня швырнуло на мокрую палубу, и,

прежде чем я сумел подняться, раздались женские крики. Именно они, я уверен, этот не поддающийся описанию, леденящий кровь звук, повергли меня в панику. Я вспомнил о спасательных поясах в салоне, но у двери на меня налетела обезумевшая толпа мужчин и женщин и отбросила назад. Что происходило следующие несколько минут, я не помню, хотя отчётливо помню, как снимал спасательные пояса с полок под потолком, а краснолицый застёгивал их на женщинах, сбившихся в кучку и бившихся в истерику. Это воспоминание стоит передо мной так же ясно, как любая виденная мною картина. Я и сейчас вижу её: рваные края пробоины в стене салона, сквозь которую клубился серый туман; пустые мягкие сиденья, на которых валялись брошенные при поспешном бегстве свёртки, дорожные сумки, зонты и накидки; полного господина, читавшего мою статью, теперь облачённого в спасательный пояс из пробки и парусины, всё ещё с журналом в руке и монотонно, настойчиво спрашивающего меня, считаю ли я, что нам грозит опасность; краснолицего, который отважно вышагивал на своих искусственных ногах и застёгивал спасательные пояса на всех, кто попался ему под руку; и наконец — оглушительный хаос женских криков.

Женские крики — вот что сильнее всего действовало мне на нервы. Должно быть, они действовали и на нервы краснолицему мужчине: перед глазами у меня навсегда осталась ещё одна картина. Полный господин суёт журнал в карман

пальто и с любопытством смотрит по сторонам. Женщины сбились в кучу; лица у них белые, рты раскрыты, и все они вопят, словно хор заблудших душ. А краснолицый мужчина, уже багровый от ярости, вскидывает руки, будто собирается метнуть молнии, и кричит: «Замолчите! Да замолчите же!»

Помню, при виде этой сцены я вдруг рассмеялся — и в следующее мгновение понял, что сам впадаю в истерику. Ведь это были женщины моего круга, такие же, как моя мать и сёстры; они боялись смерти и не хотели умирать. Помню и то, что их крики напомнили мне визг свиней под ножом мясника. Меня ужаснула точность этого сравнения. Эти женщины, способные на самые высокие чувства и нежнейшее сострадание, стояли с раскрытыми ртами и кричали. Они хотели жить, были беспомощны, как крысы в западне, и кричали.

Ужас выгнал меня на палубу. Меня мутило; я сел на скамью. Сквозь дурман я видел и слышал, как люди мечутся и кричат, пытаясь спустить шлюпки. Всё происходило точь-в-точь как в книгах, где описывают такие бедствия. Тали задело. Ничего не работало. Одну шлюпку спустили без сливных пробок: она наполнилась женщинами и детьми, потом водой и перевернулась. Другую спустили лишь с одного конца; второй так и остался висеть на таях, и шлюпку бросили. Парохода, из-за которого произошла катастрофа, нигде не было видно, хотя я слышал, как люди говорили, что он непременно пришлёт нам шлюпки.

Я спустился на нижнюю палубу. «Мартинес» быстро то-

нул: вода подступила уже совсем близко. Многие пассажиры прыгали за борт. Другие, уже оказавшиеся в воде, умоляли взять их обратно на пароход. Никто их не слушал. Кто-то закричал, что мы тонем. Паника захватила и меня, и в людской толчее я оказался за бортом. Как именно это случилось, я не знаю. Зато сразу понял, почему люди в воде так рвались обратно на пароход. Вода была холодной — до боли холодной. Едва я погрузился в неё, холод обжёг меня, словно огонь. Он вгрызался до костей. Словно сама смерть стиснула меня. От боли и потрясения я судорожно вдохнул, и лёгкие наполнились водой, прежде чем спасательный пояс вытолкнул меня на поверхность. Во рту стоял резкий вкус соли; едкая вода в горле и лёгких душила меня.

Но хуже всего был холод. Мне казалось, что я продержусь всего несколько минут. Вокруг меня люди барахтались в воде и бились из последних сил. Я слышал, как они перекликались. Слышал я и плеск вёсел. Очевидно, другой пароход спустил шлюпки. Время шло, и я удивлялся тому, что всё ещё жив. Ног я уже совсем не чувствовал, а ледяное онемение подбиралось к сердцу и словно проникало в него. Небольшие волны со злобными пенными гребнями беспрестанно захлёстывали меня, попадали в рот, и я снова заходился в приступах удушья.

Звуки стали доноситься всё глуше, но вдали я расслышал последний, отчаянный хор криков и понял, что «Мартинес» ушёл под воду. Позже — насколько позже, не знаю — я оч-

нулся, вздрогнув от страха. Я был один. Ни зовов, ни криков больше не слышалось — только шум волн, которому туман придавал странную гулкость. Паника в толпе, где людей хотя бы связывает общая беда, не так страшна, как паника в полном одиночестве. И теперь она овладела мной. Куда меня несёт? Краснолицый мужчина говорил, что отливное течение идёт через пролив Золотые Ворота. Значит, меня уносит в открытое море? А спасательный пояс, на котором я держусь? Не развалится ли он в любую минуту? Я слышал о поясах, набитых бумагой и полым камышом: они быстро намокают и перестают держать на воде. А я вовсе не умел плавать. Я был один и плыл, как мне казалось, посреди серой первозданной бескрайности. Признаюсь, меня охватило безумие: я закричал, как кричали женщины, и принялся колотить по воде онемевшими руками.

Сколько это длилось, понятия не имею: дальше наступил провал в памяти, и я помню о нём не больше, чем помнят о тяжёлом, мучительном сне. Когда я очнулся, мне показалось, что прошли века. Почти прямо над собой я увидел нос судна, выходившего из тумана, и три треугольных паруса. Наполненные ветром, они чуть заходили друг за друга. У носа, рассекавшего воду, всё бурлило и пенилось, и судно шло, казалось, прямо на меня. Я попытался крикнуть, но был слишком измучен. Нос судна опустился и прошёл мимо, едва меня не задев; волна окатила меня с головой. Затем мимо заскользил длинный чёрный борт — так близко, что я мог бы

дотронуться до него рукой. Я потянулся к нему, обезумев от желания вцепиться ногтями в дерево, но руки были тяжёлыми и безжизненными. Я снова попытался позвать на помощь, однако не издал ни звука.

Корма судна промчалась мимо и опустилась в ложбину между волнами. Я успел заметить человека у штурвала и ещё одного, который, похоже, только и делал, что курил сигару. Я увидел, как дым выходит у него изо рта, когда он медленно повернул голову и скользнул взглядом по воде в мою сторону. Это был рассеянный, случайный взгляд — так человек смотрит по сторонам, когда ему нечего делать, но он жив и должен хоть что-нибудь делать.

А между тем в этом взгляде заключались жизнь и смерть. Я видел, как судно поглощает туман; видел спину человека у штурвала и голову другого: он всё ещё медленно поворачивал её, а взгляд его уже скользил по воде ко мне. Лицо у него было отсутствующее, словно он глубоко задумался, и я испугался, что, даже если он посмотрит прямо на меня, то всё равно не заметит. Но он посмотрел — наши глаза встретились. И он меня увидел: бросился к штурвалу, оттолкнул стоявшего там человека и принялся стремительно вращать колесо, перехватывая его руками и выкрикивая какие-то приказы. Судно резко свернуло с прежнего курса и почти сразу исчезло в тумане.

Я почувствовал, что теряю сознание, и всей силой воли пытался побороть подступавшие ко мне удушающую пустоту

и тьму. Немного погодя я услышал удары вёсел — всё ближе и ближе — и голос человека. Когда он был уже совсем рядом, я различил его раздражённый крик: «Какого чёрта ты не подаёшь голоса?» Я подумал, что он обращается ко мне, — и пустота с тьмой сомкнулись надо мной.

ГЛАВА II

Мне казалось, я раскачиваюсь в могучем ритме среди необъятных звёздных просторов. Мимо вспыхивали и проносились сверкающие точки. Я знал: это звёзды и пылающие кометы, сопровождавшие мой полёт меж солнц. Когда я достигал крайней точки размаха и готовился устремиться обратно, раздавался удар огромного гонга. Несчётное время, убаюканный плавным течением безмятежных веков, я наслаждался своим исполинским полётом и размышлял о нём.

Но сон — а я говорил себе, что это непременно сон, — переменялся. Размах становился всё короче. Меня с раздражающей быстротой швыряло из стороны в сторону. Я едва успевал перевести дыхание, так стремительно нёсся сквозь небеса. Гонг гремел всё чаще и яростнее. Я стал ждать каждого удара с безымянным страхом. Потом мне почудилось, будто меня тащат по шершавому песку, белому и раскалённому солнцем. Это ощущение сменилось нестерпимой мукой. Кожа словно горела в огне. Гонг лязгал и гудел, как погребальный колокол. Сверкающие точки летели мимо нескончаемым потоком, словно все звёзды разом низвергались в пустоту. Я судорожно втянул воздух, с болью перевёл дыхание и открыл глаза. Возле меня стояли на коленях двое мужчин и хлопотали надо мной. Могучим ритмом оказались подъём судна на волне и его бросок вперёд. Грозным гонгом

была висевшая на стене сковороды: она дребезжала и грохотала при каждом скачке судна. Шершавым, жгучим песком были грубые руки человека, растиравшего мою обнажённую грудь. Я заёрзал от боли и чуть приподнял голову. Грудь была красной и ободранной; сквозь воспалённую кожу проступали крошечные капли крови.

— Хватит, Йонсон! — сказал один из мужчин. — Не видишь, ты джентльмену всю кожу содрал?

Тот, кого называли Йонсоном, рослый скандинав тяжёлого сложения, перестал меня растирать и неловко поднялся на ноги. Заговоривший с ним был несомненный кокни: правильные черты и вялое, почти женственное лицо человека, с молоком матери впитавшего звон колоколов Боу. Помятый кисейный колпак на голове и грязный джутовый мешок, обвязанный вокруг узких бёдер, выдавали в нём повара той на редкость грязной судовой кухни, где я очнулся.

— Ну как вы теперь, сэр? — спросил он с подобострастной ухмылкой, какую могут выработать лишь поколения предков, ждавших чаевых.

Вместо ответа я с трудом сел, а Йонсон помог мне встать. Дребезг и грохот сковороды невыносимо действовали мне на нервы. Я не мог собраться с мыслями. Держась за деревянную обшивку кухни — признаюсь, от покрывавшего её слоя жира у меня сводило зубы, — я протянул руку над раскалённой плитой, снял проклятую сковороду с крюка и крепко заклинил её в ящике для угля.

Повар ухмыльнулся, заметив, как расстроены мои нервы, и сунул мне в руку дымящуюся кружку.

— Вот, сэр, это вам поможет.

В кружке было тошнотворное пойло — судовой кофе, — но его тепло возвращало меня к жизни. Между глотками этой обжигающей жидкости я взглянул на свою ободранную, кровоточащую грудь и повернулся к скандинаву.

— Благодарю вас, мистер Йонсон, — сказал я. — Но не кажется ли вам, что метод вы избрали чересчур решительный?

Он понял упрёк скорее по моему поступку, чем по словам, и показал мне ладонь. Она была покрыта толстыми мозолями. Я провёл по ним рукой, и от этого жуткого шершавого прикосновения у меня снова свело зубы.

— Меня зовут Джонсон, а не Йонсон, — сказал он на очень хорошем, хотя и неторопливом английском языке, лишь с лёгким оттенком акцента.

В его бледно-голубых глазах читался мягкий протест, а вместе с ним — застенчивая прямота и мужественность, сразу расположившие меня к нему.

— Благодарю вас, мистер Джонсон, — поправился я и протянул ему руку.

Он замялся, неловко переступил с ноги на ногу, а потом неуклюже, но крепко пожал мне руку.

— У вас найдётся сухая одежда, которую я мог бы надеть? — спросил я повара.

— Найдётся, сэр, — с живой готовностью ответил он. — Сбегаю вниз, погляжу среди своих вещей, если вы не против надеть моё, сэр.

Он юркнул за дверь кухни — вернее, выскользнул с такой быстротой и плавностью, что походка его показалась мне не столько кошачьей, сколько маслянистой. Позднее я понял, что эта маслянистость, эта сальность, пожалуй, и была самой заметной чертой его натуры.

— А где я нахожусь? — спросил я Джонсона, которого счёл матросом и, как оказалось, не ошибся. — Что это за судно и куда оно идёт?

— Мы у Фараллонских островов, курс примерно на юго-запад, — отвечал он медленно и обстоятельно, словно подыскивая самые верные английские слова и строго следуя порядку моих вопросов. — Это шхуна «Призрак». Идёт к Японии на промысел морских котиков.

— А кто капитан? Мне нужно увидаться с ним, как только я оденусь.

Джонсон смутился. Он помедлил, подыскивая слова и составляя ответ. — Капитана зовут Волк Ларсен. По крайней мере, так его называют. Другого имени я не слышал. Только вы с ним говорите потише. Он сегодня зол. Помощник капитана...

Но договорить он не успел. В кухню скользнул повар.

— Тебе бы лучше отсюда убратся, Йонсон, — сказал он. — Старик небось ждёт тебя на палубе, а сегодня с ним лучше

не сцепляться.

Джонсон послушно направился к двери, но через плечо повара одарил меня на удивление серьёзным и многозначительным подмигиванием, словно хотел подчеркнуть недосказанное и ещё раз посоветовать говорить с капитаном потише.

На руке у повара висела охапка мятых, бесформенных вещей подозрительного вида и кислого запаха.

— Их мокрыми убрали, сэр, — пояснил он. — Но придётся вам пока в них походить. Я ваши у огня высушу.

Цепляясь за обшивку, шатаюсь от качки и принимая помощь повара, я сумел натянуть грубую шерстяную нижнюю рубаху. От прикосновения колючей ткани по коже тотчас побежали мурашки. Повар заметил, как я невольно вздрагиваю и морщусь, и ухмыльнулся:

— Надеюсь, вам в жизни не придётся к такому привыкать. Уж больно нежная у вас кожа, прямо женская. Нежнее я и не видывал. Я сразу, как на вас глянул, понял: настоящий джентльмен.

Он не понравился мне с первого взгляда, а пока помогал одеваться, моя неприязнь только росла. В его прикосновениях было что-то отвратительное. Я отстранялся от его руки; всё тело противилось ей. К тому же от котелков, кипевших и булькавших на плите, шли такие запахи, что мне не терпелось выйти на свежий воздух. Да и с капитаном следовало поговорить о том, как доставить меня на берег.

Под непрерывные извинения и объяснения повар натянул на меня дешёвую хлопчатобумажную рубаху с обтрёпанным воротником и пятнами на груди, которые я принял за старые следы крови. На ноги мне достались грубые рабочие башмаки, а вместо брюк — выцветшие светло-голубые рабочие штаны. Одна штанина была добрых на десять дюймов короче другой. Казалось, дьявол хотел ухватить кокни за душу, да промахнулся мимо тени и вцепился в штанину.

— Кого же мне благодарить за такую доброту? — спросил я, когда был одет с головы до ног: на голове у меня сидела крошечная мальчишеская кепка, а вместо пальто — грязная полосатая хлопчатобумажная куртка. Она едва доходила до поясицы, а рукава — чуть ниже локтей.

Повар выпрямился со скромным, но самодовольным видом, сохраняя на лице заискивающую улыбку. По опыту общения со стюардами на трансатлантических лайнерах в конце рейса я готов был поклясться, что он ждёт чаевых. Теперь, когда я лучше знаю этого человека, мне ясно, что позу он принял бессознательно. Виной тому, должно быть, была наследственная раболепность.

— Магридж, сэр, — залебезил он, и его женственные черты расплылись в сальной улыбке. — Томас Магридж, сэр, к вашим услугам.

— Хорошо, Томас, — сказал я. — Я вас не забуду, когда моя одежда высохнет.

Мягкий свет разлился по его лицу, глаза заблестели, слов-

но где-то в глубине его существа пробудились предки и зашевелились смутные воспоминания о чаевых, полученных в прежних жизнях.

— Благодарю вас, сэр, — сказал он с искренней признательностью и глубочайшей почтительностью.

Дверь отъехала назад, а он скользнул в сторону, и я вышел на палубу. После долгого пребывания в воде я всё ещё был слаб. Порыв ветра подхватил меня. Я, шатаясь, пересёк ходившую ходуном палубу и ухватился за угол надстройки, чтобы не упасть. Шхуна сильно накренилась и то вздымалась, то ныряла на длинной тихоокеанской зыби. Если она шла на юго-запад, как сказал Джонсон, значит, ветер, по моим расчётам, дул почти с юга. Туман рассеялся, и солнце ярко сверкало на воде. Я повернулся к востоку, где, как я знал, лежала Калифорния, но увидел только низкие гряды тумана — того самого, должно быть, из-за которого потерпел крушение «Мартинес» и я оказался здесь. К северу, совсем недалеко, из моря торчали голые скалы; на одной из них я различил маяк. На юго-западе, почти по нашему курсу, вырисовывались пирамидальные очертания парусов какого-то судна.

Осмотрев горизонт, я обратил внимание на то, что происходило рядом. Первой моей мыслью было: человек, переживший столкновение судов и едва не погибший, заслуживает большего внимания. Но, кроме матроса у штурвала, который с любопытством смотрел на меня поверх крыши над-

стройки, меня никто не замечал.

Все, казалось, были заняты тем, что происходило посреди палубы. Там, на крышке люка, лежал на спине крупный мужчина. Он был полностью одет, хотя рубаша у него спереди была разорвана. Грудь, впрочем, не было видно: её покрывала густая чёрная шерсть, похожая на собачий мех. Лицо и шею скрывала чёрная борода с проседью. Сухая, она, должно быть, торчала бы жёстким кустом, но теперь обмякла, спуталась и с неё капала вода. Глаза мужчины были закрыты; по всему видно, он был без сознания. Рот его был широко открыт, грудь вздымалась, будто он задыхался, и каждый вдох давался ему с шумом и трудом. Один из матросов время от времени, размеренно, словно исполняя привычную работу, опускал за борт брезентовое ведро на верёвке, перебирая её руками, вытягивал ведро и выливал воду на лежавшего.

Вдоль люков взад и вперёд расхаживал, яростно жуя кончик сигары, человек, чей случайный взгляд спас меня из моря. Ростом он был, вероятно, пять футов десять дюймов, может быть, на полдюйма выше. Но первым я ощутил не его рост, а силу. Он был массивно сложен, широк в плечах, с могучей грудью, и всё же его силу я не назвал бы тяжеловесной. Это была жилистая, узловатая сила, какую обычно приписывают худощавым людям; но в его мощном теле она словно разрослась до силы гориллы. Впрочем, внешне он ничуть не походил на гориллу. Я пытаюсь передать ощущение самой этой силы, как бы отделённой от его облика. Такую силу мы

связываем с первобытным миром, с дикими зверями, с существами, какими представляем себе наших предков, живших на деревьях. Силу свирепую, неукротимую, живую саму по себе; самую суть жизни — её способность двигаться, ту первичную материю, из которой сложились все живые формы. Словом, ту силу, что ещё извивается в теле змеи, когда голову ей уже отрубили и сама змея мертва; ту, что ещё таится в бесформенном куске черепашьего мяса, заставляя его сжиматься и вздрагивать от тычка пальцем.

Вот какую силу я ощутил в человеке, мерившем палубу шагами. Он крепко держался на ногах; ступни его уверенно и твёрдо ступали на доски. Каждое движение мышц — от взмаха плеч до того, как губы сжимали сигару, — было решительным и словно питалось силой, которой в нём имелось с избытком. И всё же сила, проступавшая в каждом его движении, казалась лишь знаком другой, куда большей силы, скрытой внутри. Та дремала, лишь изредка шевелилась, но могла в любую минуту пробудиться — страшная, неудержимая, как ярость льва или неистовство бури.

Кок высунул голову из двери камбуза и ободряюще ухмыльнулся мне, одновременно указав большим пальцем на человека у люка. Я понял, что это капитан, «Старик», как называл его кок; именно с ним мне предстояло поговорить и убедить его каким-нибудь образом доставить меня на берег. Я уже было двинулся к нему, желая поскорее пережить предстоящие, как я не сомневался, бурные пять минут, но тут

лежавшего на спине несчастного охватил новый, ещё более сильный приступ удушья. Он судорожно выгибался и корчился. Подбородок с мокрой чёрной бородой вздёрнулся выше, мышцы спины напряглись, грудь раздулась в бессознательной, инстинктивной попытке втянуть побольше воздуха. Я знал: под бородой кожа его, невидимая нам, становится багрово-лиловой.

Капитан — Волк Ларсен, как называли его люди, — перестал расхаживать и устался на умирающего. Последняя борьба того стала такой отчаянной, что матрос замер, не успев выплеснуть очередное ведро воды, и тоже с любопытством смотрел на него. Из наклонённого брезентового ведра на палубу капала вода. Умирающий выбил пятками дробь по крышке люка, вытянул ноги, напрягся всем телом и заметался головой из стороны в сторону. Потом мышцы обмякли, голова остановилась, и с губ его слетел вздох глубокого облегчения. Челюсть отвисла, верхняя губа приподнялась, обнажив два ряда зубов, потемневших от табака. Казалось, лицо застыло в дьявольской усмешке, обращённой к миру, который он покинул и сумел перехитрить.

И тут произошло нечто поразительное. Капитан обрушился на мертвеца, точно удар грома. Проклятия полились из его рта непрерывным потоком. Это были не вялые ругательства и не просто непристойности. Каждое слово было богохульством, а слов было множество. Они трещали и сверкали, как электрические искры. Ничего подобного я в жизни не

слышал и даже не мог представить себе возможным. Я и сам тяготел к литературному слову, любил яркие образы и сильные выражения, а потому, смею думать, лучше любого другого слушателя оценил необыкновенную живость, мощь и беспримесное богохульство его метафор. Насколько я сумел понять, причиной этой бури было то, что умерший, помощник капитана, перед выходом из Сан-Франциско пустился в загул, а затем имел дурной вкус умереть в самом начале плаванья, оставив Волка Ларсена без нужного числа людей в команде.

Моим друзьям, по крайней мере, не нужно объяснять, какое потрясение я испытал. Ругань и сквернословие всегда были мне отвратительны. Я почувствовал, как всё во мне сникает, сердце уходит куда-то вниз и, признаюсь, кружится голова. Смерть всегда представлялась мне окружённой достоинством и торжественностью. Она наступала мирно, а обряды, сопровождавшие её, были священны. Но с её неприглядной и страшной стороной я до сих пор не сталкивался. Как я уже сказал, я оценил силу грозных проклятий, извергавшихся из уст Волка Ларсена, и всё же был потрясён до глубины души. Этот обжигающий поток, казалось, мог иссушить лицо покойника. Я бы не удивился, если бы мокрая чёрная борода съёжилась, завилась, задымилась и вспыхнула. Но мертвецу было всё равно. Он продолжал усмехаться — язвительно, с циничной насмешкой и вызовом. Он оставался хозяином положения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Волк Ларсен оборвал брань так же внезапно, как начал. Он снова закурил сигару и огляделся. Его взгляд случайно упал на кока.

— Ну что, Кок? — начал он вкрадчиво, с ледяной сталью в голосе.

— Да, сэр, — поспешно отозвался кок, угодливый и слово заранее готовый извиниться.

— Не кажется тебе, что ты уже вдоволь вытянул шею? Это вредно для здоровья, знаешь ли. Помощника капитана я потерял и не могу позволить себе потерять ещё и тебя. Ты уж очень, очень береги здоровье, Кок. Понял?

Последнее слово, совсем не похожее на прежнюю плавную речь, хлестнуло, как удар кнута. Кок съёжился.

— Да, сэр, — покорно ответил он и убрал свою провинившуюся голову в камбуз.

Отповедь предназначалась не одному коку: он лишь дал для неё повод. Остальные сразу утратили интерес к происходящему и занялись каждый своим делом. Только несколько человек у трапа между камбузом и люком продолжали негромко переговариваться. На матросов они не походили. Позднее я узнал, что это охотники, стрелявшие морских котиков, — люди, по складу своему стоявшие куда выше обычных матросов.

— Иогансен! — позвал Волк Ларсен. Матрос послушно вышел вперёд. — Возьми ладонник с иглой и зашей беднягу. В парусной кладовой найдёшь старую парусину. Она сгодится.

— А что привязать ему к ногам, сэр? — спросил матрос после положенного «Есть, сэр».

— Об этом позаботимся, — ответил Волк Ларсен и громко крикнул: — Кок!

Томас Магридж выскочил из камбуза, как чёртик из коробки.

— Спустишь вниз и набей мешок углём.

— У кого-нибудь из вас есть Библия или молитвенник? — обратился капитан к охотникам у трапа.

Те покачали головами. Кто-то отпустил шутку, которую я не расслышал, и все расхохотались.

Волк Ларсен задал тот же вопрос матросам. Библии и молитвенники, видно, были здесь редкостью, но один матрос вызвался поискать у вахты, отдыхавшей внизу. Через минуту он вернулся и сообщил, что ни у кого ничего нет.

Капитан пожал плечами.

— Значит, отправим его за борт без лишних речей. Разве что наш потерпевший крушение, с виду сущий пастор, знает наизусть слова погребальной службы.

К этому времени он уже повернулся ко мне лицом.

— Ты ведь проповедник? — спросил он.

Все шестеро охотников как один обернулись и уставились

на меня. Я с мучительной ясностью сознавал, что похож на огородное пугало. Мой вид вызвал смех, которого несколько не смягчило зрелище мертвеца, лежавшего перед нами на палубе с оскаленным ртом. Смех был грубым, резким и откровенным, как само море. Он рождался из грубых чувств и притупившейся восприимчивости людей, не знавших ни учтивости, ни мягкости.

Волк Ларсен не смеялся, хотя в его серых глазах мелькнула искра веселья. Я подошёл к нему вплотную и в эту минуту впервые составил представление о нём самом — отдельно от его тела и от потока богохульств, который он только что извергал. Его лицо с крупными, резкими чертами, скорее квадратное, но полное, сперва казалось массивным. Однако, как и при взгляде на его тело, это впечатление исчезало. Вместо него крепло ощущение огромной, чрезмерной силы ума или духа, дремавшей в глубине его существа. Челюсть, подбородок, высокий лоб, тяжело нависший над глазами, — всё это само по себе отличалось необычайной мощью, но говорило о ещё большей силе духа, скрытой за ними. Невозможно было ни постичь такой дух до конца, ни измерить его, ни очертить его пределы, ни аккуратно поместить в одну ячейку с ему подобными.

Глаза его — мне суждено было хорошо их узнать — были большими и красивыми, широко расставленными, как у настоящего художника. Они таились под тяжёлым лбом, а над ними дугой изгибались густые чёрные брови. Их серый

цвет невозможно было уловить раз и навсегда: он переливался множеством оттенков, как шёлк на солнце. То глаза казались тёмно-серыми, то светло-серыми, то серыми с зеленью, а иной раз в них проступала чистая лазурь морской глубины. Они скрывали душу под тысячей обличий, но порой, в редкие мгновения, раскрывались и выпускали её наружу — словно та собиралась нагой отправиться в мир навстречу удивительному приключению. Эти глаза могли мрачно застыть, как безнадёжно свинцовое небо; могли вспыхнуть огненными искрами, словно вращающийся клинок; могли холодеть, как арктический пейзаж. А потом вдруг теплели, смягчались, наполнялись пляшущими огоньками любви — сильной, мужской, манящей и властной. Этот взгляд завораживал и подчинял женщин, пока они не отдавались ему с радостью, облегчением и готовностью пожертвовать собой.

Но вернусь к разговору. Я сказал, что, к несчастью для погребального обряда, я не проповедник. Тогда он резко спросил:

— Чем ты зарабатываешь на жизнь?

Признаюсь, никто прежде не задавал мне такого вопроса, да и сам я над ним не задумывался. Я совершенно растерялся и, прежде чем успел опомниться, глупо пробормотал:

— Я... я джентльмен.

Его губы мгновенно искривились в насмешке.

— Я работал и работаю, — горячо воскликнул я, словно он был судьёй, перед которым мне следовало оправдаться.

При этом я прекрасно понимал, как несусветно глупо вообще обсуждать с ним подобные вещи.

— Чтобы прокормиться?

В нём было столько властности, что я совсем потерял голову — «сбился с толку», как сказал бы Фэрасет, — и дрожал, точно ребёнок перед суровым учителем.

— Кто тебя кормит? — последовал новый вопрос.

— У меня есть доход, — твёрдо ответил я и в ту же секунду готов был откусить себе язык. — Впрочем, позволю себе заметить: всё это не имеет ни малейшего отношения к тому, о чём я хотел с вами поговорить.

Но он не обратил внимания на мой протест.

— Кто его заработал? А? Так я и думал. Твой отец. Ты стоишь на ногах мертвецов. Своих у тебя никогда не было. Сам ты не продержался бы и от одного восхода до другого: не сумел бы добыть себе еды на три раза. Покажи руку.

Должно быть, его дремавшая сила проснулась и он двинулся с поразительной быстротой и точностью — или же я на миг задремал. Прежде чем я успел понять, что происходит, он сделал два шага ко мне, схватил мою правую руку и поднял её, разглядывая. Я попытался высвободиться, но его пальцы без видимого усилия стиснули мои так, что мне почудилось: кости вот-вот треснут. В подобных обстоятельствах нелегко сохранить достоинство. Я не мог извиваться и вырываться, как школьник. Не мог и напасть на человека, которому достаточно было повернуть мою руку, чтобы сломать её.

Оставалось стоять неподвижно и терпеть унижение. Я успел заметить, что содержимое карманов мертвеца уже выложили на палубу, а тело вместе с оскаленным лицом скрыли под парусиной. Матрос Иогансен сшивал её края толстой белой бечёвкой, проталкивая иглу ладонником — кожаной накладкой на ладони.

Волк Ларсен с презрением отпустил мою руку.

— Руки мертвецов сохранили твою мягкой. Годится разве что посуду мыть да выполнять чёрную работу на кухне.

— Я хочу, чтобы меня высадили на берег, — твёрдо сказал я: к этому времени я уже вполне овладел собой. — Я заплачу вам столько, сколько вы сочтёте справедливым за задержку и хлопоты.

Он с любопытством посмотрел на меня. В глазах его светилась насмешка.

— У меня есть встречное предложение. Для вашей же души полезное. Помощник у меня выбыл, теперь кое-кому светит повышение. Матрос перейдёт на корму и займёт место помощника, юнга пойдёт на нос и займёт место матроса, а вы станете юнгой. Подпишете судовой договор на весь рейс: двадцать долларов в месяц и полное содержание. Что скажете? Учтите, это ради вашей же души. Из вас ещё выйдет человек. Глядишь, со временем научитесь стоять на собственных ногах, а там и ходить понемногу.

Но я не обратил на его слова внимания. Паруса судна, замеченного мною на юго-западе, стали больше и отчётливее.

Оно тоже было шхуной, хотя корпус у него, как я теперь видел, был меньше, чем у «Призрака». Красивое было зрелище: судно взлетало на волнах и мчалось к нам, явно собираясь пройти совсем близко. Ветер всё крепчал. Солнце, напоследок несколько раз сердито сверкнув, скрылось. Море стало тусклым, свинцово-серым и ещё сильнее взволновалось; белые пенные гребни взлетали к небу. Мы шли быстрее и кренились сильнее. Однажды порыв ветра уложил шхуну так, что борт у самой палубы ушёл под воду. Палубу с этой стороны на миг залило, и двое охотников поспешно поджали ноги.

— Это судно скоро пройдёт мимо нас, — сказал я после короткой паузы. — Оно идёт в противоположную сторону и, по всей вероятности, направляется в Сан-Франциско.

— Весьма вероятно, — ответил Волк Ларсен, слегка отвернувшись от меня и крикнул: — Кок! Эй, кок!

Кокни выскочил из камбуза.

— Где тот парень? Скажи, что он мне нужен.

— Есть, сэр. — Томас Магридж проворно бросился на корму и спустился по другому трапу возле штурвала. Через мгновение он появился снова. По пятам за ним шёл коренастый юноша лет восемнадцати-девятнадцати с угрюмым, разбойничьим лицом.

— Вот он, сэр, — сказал кок.

Но Волк Ларсен не обратил на кока внимания и сразу повернулся к юнге.

— Как тебя зовут, парень?

— Джордж Лич, сэр, — угрюмо ответил тот. По всему его виду было ясно: он догадывался, зачем его позвали.

— Фамилия не ирландская, — резко бросил капитан. — К твоей роже куда больше подошло бы О’Тул или Маккарти. Хотя, скорее всего, ирландец затесался в родню по материнской линии.

Я увидел, как от этого оскорбления юноша сжал кулаки и как багровая краска поползла у него вверх по шее.

— Но ладно, оставим это, — продолжал Волк Ларсен. — Возможно, у тебя были веские причины забыть собственную фамилию. Мне всё равно, пока ты ходишь по струнке. Ты, конечно, с Телеграфного холма. У тебя это на всей роже написано. Крепкий головорез, да ещё вдвое злее обычного. Знаю вашу породу. Так вот, можешь не сомневаться: на этой шхуне из тебя всю эту дурь выбьют. Понял? Кто тебя нанял?

— Маккриди и Свонсон.

— Сэр! — рявкнул Волк Ларсен.

— Маккриди и Свонсон, сэр, — поправился юноша. Глаза его горели злостью.

— Кто получил аванс?

— Они, сэр.

— Так я и думал. А ты чертовски рад был им его отдать. Тебе не терпелось исчезнуть: кое-какие господа, о которых ты, должно быть, слышал, тебя разыскивают.

В один миг юноша словно превратился в дикого зверя. Он

весь подобрался, готовясь прыгнуть; лицо его исказилось от ярости, и он прорычал: — Это ло...

— Что? — спросил Волк Ларсен с необычной мягкостью, словно ему не терпелось услышать недосказанное слово.

Юноша замялся, потом совладал с собой. — Ничего, сэр. Беру свои слова обратно.

— И тем самым доказал, что я прав. — Волк Ларсен довольно улыбнулся. — Сколько тебе лет?

— Только что исполнилось шестнадцать, сэр.

— Врёшь. Тебе уже давно не восемнадцать. А для своих лет ты всё равно здоровяк, мускулы как у лошади. Собирай вещи и ступай на нос, в кубрик. Теперь ты гребец. Получил повышение, понял?

Не дожидаясь согласия юноши, капитан повернулся к матросу, который только что закончил жуткую работу — зашил мертвеца. — Иогансен, в навигации разбираешься?

— Нет, сэр.

— Неважно. Всё равно будешь помощником. Переноси пожитки на корму, в каюту помощника.

— Есть, сэр! — бодро отозвался Иогансен и направился к носу.

Бывший юнга между тем не сдвинулся с места. — Чего ждёшь? — потребовал ответа Волк Ларсен.

— Я нанимался юнгой, сэр, — ответил тот. — А не гребцом. И грести я не собираюсь.

— Собирай вещи и ступай на нос.

На этот раз приказ Волка Ларсена прозвучал так властно, что меня пробрала дрожь. Юноша угрюмо смотрел на него исподлобья, но не двигался.

Тогда вновь дала о себе знать чудовищная сила Волка Ларсена. Всё произошло внезапно и кончилось за какие-то две секунды. Он одним прыжком преодолел добрых шесть футов палубы и ударил юношу кулаком в живот. В тот же миг у меня самого болезненно сжалось под ложечкой, будто удар пришёлся по мне. Я говорю об этом, чтобы показать, как чувствительны были тогда мои нервы и до чего я не привык видеть жестокость. Юнга, весивший никак не меньше семидесяти пяти килограммов, сложился пополам. Его тело безвольно обвисло на кулаке, словно мокрая тряпка на палке. Затем он взлетел в воздух, описал короткую дугу и рухнул на палубу рядом с трупом, ударившись головой и плечами. Там он и остался, корчась от боли.

— Ну что? — спросил меня Ларсен. — Решили?

Я время от времени поглядывал на приближавшуюся шхуну. Теперь она была почти на траверзе, не дальше двухсот ярдов от нас. Маленькое судно выглядело ладным и ухоженным. На одном из парусов я различил крупный чёрный номер; мне случилось видеть изображения лоцманских судов.

— Что это за судно? — спросил я.

— Лоцманская шхуна «Леди Майн», — мрачно ответил Волк Ларсен. — Лоцманов она уже высадила и возвращает-

ся в Сан-Франциско. При таком ветре будет там часов через пять-шесть.

— Тогда, пожалуйста, подайте ей сигнал, чтобы меня доставили на берег.

— Сожалею, но сигнальную книгу у меня смыло за борт, — заметил он. Охотники, стоявшие рядом, осклабились.

Я на мгновение задумался, глядя ему прямо в глаза. Я видел, как он обошёлся с юнгой, и понимал, что со мной, вероятно, поступит так же, если не хуже. Я всё взвесил и совершил то, что считаю самым храбрым поступком в своей жизни. Я бросился к борту, замахал руками и закричал:

— Эй, на «Леди Майн»! Возьмите меня на берег! Тысячу долларов, если доставите меня на берег!

Я ждал, не сводя глаз с двух человек у штурвала. Один правил, другой поднимал к губам рупор. Я не оборачивался, хотя каждую секунду ожидал смертельного удара от человека-зверя за моей спиной. Наконец, после ожидания, показавшегося мне вечностью, я не выдержал и оглянулся. Ларсен не сдвинулся с места. Он стоял всё там же, свободно показываясь вместе с судном, и закуривал новую сигару.

— Что случилось? Что-нибудь не так?

Это кричали с «Леди Майн».

— Да! — закричал я во всё горло. — Вопрос жизни и смерти! Тысячу долларов, если доставите меня на берег!

— Перебрал сан-францисского пойла! Моей команде такой опасен! — крикнул вслед моим словам Волк Ларсен. —

Вон этот, — он указал на меня большим пальцем, — сейчас видит морских змеев и обезьян!

Человек на «Леди Майн» ответил смехом в рупор. Лоцманская шхуна пронеслась мимо.

— Задай ему жару и за меня! — донёсся последний крик, и оба мужчины помахали друг другу на прощание.

Я в отчаянии перегнулся через поручень, глядя, как ладная маленькая шхуна уходит прочь, а пустынная полоса океана между нами всё ширится. Через пять или шесть часов она, вероятно, будет в Сан-Франциско! Голова, казалось, вот-вот расколется. Горло сдавило, будто сердце поднялось к нему. Волна ударилась о борт, и солёные брызги попали мне на губы. Ветер налетел с новой силой, «Призрак» сильно накренился, погрузив подветренный поручень в воду. Я слышал, как вода хлынула на палубу.

Когда минуту спустя я обернулся, юнга, пошатываясь, поднимался на ноги. Лицо его было мертвенно-бледным и подёргивалось от боли, которую он старался скрыть. Вид у него был совсем больной.

— Ну что, Лич, идёшь на нос? — спросил Волк Ларсен.

— Да, сэр, — ответил он сломленным голосом.

— А ты? — спросил Ларсен меня.

— Я дам вам тысячу... — начал я, но он меня перебил.

— Хватит! Будешь исполнять обязанности юнги? Или мне самому за тебя взяться?

Что мне оставалось? Если бы он жестоко избил меня или

даже убил, это ничем бы мне не помогло. Я пристально посмотрел ему в жестокие серые глаза. В них было не больше света и человеческого тепла, чем в граните. У иных людей можно увидеть, как в глазах шевелится душа; его же глаза были пустынные, холодны и серы, как само море.

— Ну?

— Да, — сказал я.

— Говори: «Да, сэр».

— Да, сэр, — поправился я.

— Как тебя зовут?

— Ван-Вейден, сэр.

— А имя?

— Хамфри, сэр. Хамфри Ван-Вейден.

— Сколько лет?

— Тридцать пять, сэр.

— Ладно. Ступай к коку, он объяснит тебе твои обязанности.

Так я оказался в подневольной службе у Волка Ларсена. Он был сильнее меня — вот и всё. Но тогда происходящее казалось неправдоподобным. Таким же оно кажется мне и теперь, когда я оглядываюсь назад. Для меня это навсегда останется чем-то чудовищным и немыслимым, страшным кошмаром.

— Постой, не уходи.

Я послушно остановился по дороге к камбузу.

— Иогансен, свистать всех наверх. Раз уж мы здесь

всё прибрали, похороним покойника и избавим палубу от ненужного хлама.

Пока Иогансен вызывал матросов, отдохавших после вахты, двое моряков по приказу капитана уложили завёрнутое в парусину тело на крышку люка. Вдоль обоих бортов стояли привязанные днищами кверху небольшие шлюпки. Несколько человек подняли крышку с её страшной ношей, перенесли к подветренному борту и положили на шлюпки так, чтобы ноги покойника выдавались за борт. К ногам привязали мешок с углём, который принёс кок.

Я всегда представлял похороны в море торжественным обрядом, внушающим благоговейный трепет, но эти похороны быстро развеяли мои представления. Один из охотников, невысокий темноглазый человек, которого товарищи звали Смоком, рассказывал истории, щедро пересыпая их руганью и непристойностями. Едва ли не каждую минуту охотники раздражались хохотом, напомиравшим мне волчий вой или лай адских псов. Матросы с шумом потянулись на корму. Те, кого подняли после вахты, на ходу протирали сонные глаза. Они переговаривались вполголоса; на лицах у них читалась тревога. Было ясно, что плавание под началом такого капитана, да ещё начавшееся столь дурно, им не по душе. Время от времени они украдкой поглядывали на Волка Ларсена, и я видел, что они его боятся.

Он подошёл к крышке люка, и все сняли шапки. Я оглядел собравшихся — всего двадцать человек; двадцать два,

если считать матроса у штурвала и меня. Моё любопытство было простительно: похоже, судьба обрекла меня провести с ними в этом крошечном плавучем мире неведомо сколько недель или месяцев. Матросы были большей частью англичанами и скандинавами, с тяжёлыми, непроницаемыми лицами. Лица охотников, напротив, отличались большей силой и разнообразием; их жёсткие черты хранили следы страстей, которым давали полную волю. Как ни странно — и я заметил это сразу, — в чертах Волка Ларсена не было такого отпечатка зла. В них вообще не виделось ничего порочного. Морщины, правда, были, но говорили они о решительности и твёрдости. Лицо его казалось скорее прямым и открытым; то, что он был гладко выбрит, лишь усиливало это впечатление. До случая, произошедшего вслед за тем, я с трудом верил, что человек с таким лицом способен обойтись с юнгой так, как обошёлся он.

Едва он открыл рот, собираясь заговорить, как один порыв ветра за другим ударил в шхуну и вдавил её борт в воду. Ветер с диким воем пронёсся по снастям. Несколько охотников тревожно взглянули вверх. Подветренный поручень, возле которого лежал покойник, ушёл под воду; когда шхуна приподнялась и выпрямилась, вода прокатилась по палубе, промочив нам ноги выше краёв башмаков. На нас обрушился ливень — каждая капля жгла, словно градина. Когда шквал прошёл, Волк Ларсен заговорил. Люди с непокрытыми головами дружно покачивались в такт рывкам палубы.

— Из похоронной службы я помню только одно место, — сказал он. — «И тело должно быть предано морю». Вот и предайте.

Он умолк. Люди, державшие крышку люка, растерянно смотрели на него, должно быть, озадаченные краткостью обряда. Ларсен вдруг взорвался:

— Поднимайте этот край, чёрт вас поберет! Чего вы там застыли?

Они с жалкой поспешностью приподняли край крышки, и мертвец, словно собака, выброшенная за борт, соскользнул ногами вперёд в море. Мешок с углём потянул его ко дну. Он исчез.

— Иогансен, — живо сказал Волк Ларсен новому помощнику капитана, — раз уж все наверху, оставь их на палубе. Уберите топсели и кливера, да как следует. Надвигается юго-восточный ветер. Заодно возьмите рифы на кливере и гроте.

Палуба тотчас пришла в движение: Иогансен рявкал приказы, матросы тянули и травили канаты — для сухопутного человека вроде меня всё это было сплошной путаницей. Но сильнее всего меня поразило их бессердечие. Смерть человека стала прошедшим эпизодом, случаем, о котором тут же забыли: его сбросили в море, завёрнутого в парусину, с мешком угля у ног, а шхуна мчалась дальше, и работа на ней продолжалась. Никого это не тронуло. Охотники смеялись над новой историей Смока; матросы тянули снасти, двое взбирались наверх; Волк Ларсен изучал небо, затягивавшееся туча-

ми с наветренной стороны; а мертвец, умерший безобразной смертью, погребённый столь жалким образом, опускался всё ниже, ниже...

Тогда-то я всей силой ощутил жестокость моря, его неумолимость и ужас. Жизнь вдруг показалась дешёвой и пошлой, чем-то звериным и бессловесным, бездушным копошением в иле и слизи. Я держался за наветренный поручень возле вант и смотрел поверх пустынных пенистых волн на низкие полосы тумана, скрывавшие Сан-Франциско и берега Калифорнии. Между нами проносились дождевые шквалы, и я едва различал туман. А странное судно с его страшными людьми, придавленное ветром и морем и всякий раз снова вырывавшееся из волн, уходило на юго-запад, в великое одинокое пространство Тихого океана.

ГЛАВА IV

То, что случилось со мной затем на шхуне «Призрак», промышлявшей морских котиков, пока я пытался освоиться в новой обстановке, принесло мне боль и унижения. Кок, которого команда звала «доктором», охотники — «Томми», а Волк Ларсен — «Коком», словно подменился. Стоило измениться моему положению, как изменилось и его обращение со мной. Прежде он заискивал и лебезил, теперь помыкал мной и при каждом случае лез в ссору. Я больше не был изысканным джентльменом с кожей нежнее, чем у «дамочки», а стал обыкновенным, совершенно никчёмным юнгой.

Он нелепо требовал, чтобы я называл его господином Магриджем, и, объясняя мои обязанности, держался с невыносимой важностью. Мне предстояло не только убирать каюту и четыре маленькие каюты при ней, но и помогать ему на камбузе. Моё полное неумение чистить картошку или мыть жирные кастрюли служило для него неиссякаемым поводом для язвительных замечаний. Он не хотел считаться с тем, кто я такой, — точнее, с тем, как я жил и к чему привык. Такое отношение он избрал с самого начала; и, признаюсь, к концу дня я возненавидел его сильнее, чем когда-либо ненавидел кого бы то ни было.

Первый день оказался особенно тяжёлым ещё и потому, что «Призрак» под сильно зарифленными парусами — та-

кие выражения я узнал лишь позднее — пробивался сквозь волны при «воюющем юго-восточном ветре», как называл его господин Магридж. В половине шестого я по его указаниям накрыл стол в каюте, поставив штормовые подносы, а потом принялся носить с камбуза чай и еду. Тут я впервые узнал, что такое волна, перехлестнувшая через борт.

— Гляди в оба, а то окатит, — напутствовал меня господин Магридж, когда я вышел из камбуза с большим чайником в одной руке и несколькими буханками свежее испечённого хлеба на сгибе другой. Как раз в это время один из охотников, высокий нескладный парень по имени Гендерсон, шёл к кормовой каюте из кубрика — так охотники в шутку называли своё спальное помещение в средней части судна. Волк Ларсен стоял на кормовой палубе и курил свою неизменную сигару.

— Идёт! Уноси ноги! — крикнул кок.

Я остановился, не понимая, что идёт, и увидел, как с грохотом захлопнулась дверь камбуза. Затем Гендерсон бросился к грот-вантам и взлетел по их внутренней стороне на много футов выше моей головы. Тогда же я увидел огромную волну: она пенилась, загибалась гребнем и уже нависла высоко над бортом. Я стоял прямо под ней. Всё вокруг было таким новым и странным, что я не успел сообразить, как поступить. Я понял лишь, что мне грозит опасность, и застыл на месте от страха. С кормовой палубы закричал Волк Ларсен:

— Хватайся за что-нибудь, ты... ты, Хамп!

Но было поздно. Я метнулся к вантам, за которые ещё мог бы ухватиться, и в меня ударила обрушившаяся стена воды. Всё, что было дальше, смешалось в моей памяти. Я оказался под водой, задыхался и тонул. Меня сбilo с ног, крутило и несло неизвестно куда. Несколько раз я налетал на что-то твёрдое, а однажды страшно ударился правым коленом. Потом вода вдруг схлынула, и я снова вдохнул воздух. Меня швырнуло от наветренного борта к камбузу, затем протаскило вокруг сходного трапа в кубрик и прибило к подветренным шпигатам. Повреждённое колено болело нестерпимо. Я не мог на него опереться — во всяком случае, мне так казалось, — и был уверен, что сломал ногу. Но кок уже набросился на меня, крича из подветренной двери камбуза:

— Эй, ты! Не возись там до ночи! Где чайник? За бортом оставил? Да если бы ты шею себе свернул, поделом бы тебе было!

Я с трудом поднялся на ноги. Большой чайник всё ещё был у меня в руке. Прихрамывая, я добрался до камбуза и протянул его коку. Но тот кипел от возмущения — настоящего или притворного.

— Чтоб мне провалиться, ну и растяпа! На что ты вообще годишься, хотел бы я знать? А? На что ты годишься? Даже чай на корму донести не можешь, всё расплескал. Теперь заново кипятить придётся.

— А ты чего хлюпаешь носом? — набросился он на ме-

ня с новой злостью. — Ножку ушиб? Бедный маменькин любимчик!

Носом я не хлюпал, хотя лицо моё от боли наверняка светело судорогой. Я собрал всю волю, стиснул зубы и, ковыляя, продолжил ходить из камбуза в каюту и обратно. Больше со мной ничего не случилось. Та волна оставила мне на память две вещи: повреждённую коленную чашечку, которую так и не обработали и из-за которой я мучился долгие месяцы, и имя «Хамп», брошенное Волком Ларсеном с кормовой палубы. С той поры и на носу, и на корме меня звали только так. Постепенно это имя вошло и в мои собственные мысли: я стал думать о себе как о Хампе, словно Хамп и был мной всегда.

Прислуживать за столом в каюте, где сидели Волк Ларсен, Иогансен и шестеро охотников, было нелегко. Сама каюта была тесна, а шхуна так яростно вздымалась, проваливалась и валилась с борта на борт, что передвигаться по ней стоило немалых усилий. Но сильнее всего меня поразило полное отсутствие сочувствия у людей, которым я подавал еду. Я чувствовал даже сквозь одежду, как всё больше распухает колено; от боли меня мутило и одолевала слабость. В каютном зеркале я порой ловил отражение своего лица — мертвенно-бледного, искажённого болью. Все, несомненно, видели, в каком я состоянии, однако никто не сказал ни слова и не подал вида, что заметил меня. Позднее, когда я мыл посуду, я был почти благодарен Волку Ларсену за то, что он произ-

нёс:

— Не позволяй такой мелочи выбить тебя из колеи. Со временем привыкнешь. Может, тебя немного и покалечит, зато научишься ходить.

— Это, кажется, называется парадоксом? — добавил он.

Я кивнул и, как полагалось, ответил: «Да, сэр». Он, видимо, остался доволен.

— Ты, надо думать, в литературе кое-что смыслишь? А? Хорошо. Как-нибудь побеседуем.

После этого он отвернулся, больше не обращая на меня внимания, и поднялся на палубу.

Вечером, когда я переделал, казалось, бесконечное множество дел, меня отправили спать в кубрик, где я застелил свободную койку. Я был рад уйти от ненавистного кока и наконец дать ногам отдых. К моему удивлению, одежда высохла прямо на мне, а признаков простуды не было — ни после этой волны, ни после долгого пребывания в воде, когда затонул «Мартинес». При обычных обстоятельствах после всего пережитого мне полагалось бы лежать в постели под присмотром опытной сиделки.

Но колено мучило меня страшно. Насколько я мог разглядеть, коленная чашечка посреди опухоли будто повернулась ребром. Я сидел на койке и осматривал её; все шестеро охотников были в кубрике, курили и громко разговаривали. Проходя мимо, Гендерсон мельком взглянул на моё колено.

— Скверно выглядит, — заметил он. — Обмотай тряп-

кой, и обойдётся.

И это было всё. На берегу я лежал бы навзничь, надо мной хлопотал бы хирург, а мне строжайше велели бы отдыхать и ничего больше не делать. Но этим людям надо отдать должное: к моим страданиям они были так же равнодушны, как и к собственным, когда с ними случалась беда. Думаю, отчасти дело было в привычке, отчасти — в том, что сами они были менее чувствительны. Я убеждён: тонко чувствующий человек с натянутыми нервами страдал бы от такой же травмы вдвое, а то и втрое сильнее.

Я устал — нет, был совершенно изнурён, — но боль в колене не давала мне уснуть. Я едва удерживался от стонов. Дома я, несомненно, дал бы волю своей боли, но здесь, в этой новой, первобытной обстановке, словно требовалось сдерживать себя с дикарской суровостью. Подобно дикарям, эти люди встречали большие беды стойко, а из-за пустяков вели себя как дети. Помню, позднее, во время плавания, я видел, как другой охотник, Керфут, лишился пальца: палец раздробило в кашу. Керфут даже не вскрикнул, и лицо его не дрогнуло. Зато того же человека я не раз видел в бешенстве из-за сущей мелочи.

Сейчас он как раз бесновался: кричал, ревел, размахивал руками и сыпал проклятиями, словно одержимый. А всё из-за спора с другим охотником о том, умеет ли детёныш морского котика плавать от рождения. Керфут утверждал, что умеет: едва родится — и уже может плыть. Другой охотник,

Лэтимер, худощавый малый с видом янки и узкими, пронизательными глазами, стоял на своём. По его словам, котики рождаются на суше именно потому, что ещё не умеют плавать, и матери приходится учить их, как птицы учат птенцов летать.

Остальные четверо охотников большей частью стояли, опершись о стол, или лежали на койках и предоставляли спор двум противникам. Но следили они за ним с живейшим интересом: то и дело горячо поддерживали одного из спорщиков, а порой начинали говорить все разом. В тесном помещении их голоса накатывали друг на друга, словно раскаты грома. Предмет спора был ребяческим и пустяковым, но рассуждали охотники ещё более ребячески. По правде сказать, рассуждений почти не было. Они просто утверждали своё, принимали это за доказательство и поносили противника. Каждый доказывал, что новорождённый котик умеет — или не умеет — плавать: воинственно заявлял об этом, а затем обрушивался на умственные способности другого, его здравый смысл, национальность или прошлое. В ответ следовало то же самое. Я рассказываю об этом, чтобы показать, каковы были люди, среди которых я очутился. Умом они оставались детьми в телах взрослых мужчин.

И они курили, курили без конца грубый, дешёвый табак с отвратительным запахом. Воздух от дыма стал густым и мутным. Вместе с яростной качкой шхуны, пробивавшейся сквозь шторм, он непременно вызвал бы у меня морскую бо-

лезнь, будь я к ней склонен. Меня и без того мутило, хотя тошнота могла быть следствием боли в ноге и изнеможения.

Лёжа там, я, разумеется, думал о себе и о своём положении. Немыслимо! Даже во сне мне не могло привидеться, что я, Хамфри Ван-Вейден, учёный человек и, если угодно, дилетант в искусстве и литературе, окажусь здесь, на шхуне, промышленяющей морских котиков в Беринговом море. Юнга! За всю жизнь мне не приходилось заниматься ни тяжёлым физическим трудом, ни грязной кухонной работой. Мои дни проходили спокойно, без потрясений, за письменным столом. Я жил как учёный и затворник, имевший надёжный и достаточный доход. Бурная жизнь и спорт никогда меня не привлекали. Я всегда был книжным червём — так в детстве называли меня отец и сёстры. Лишь однажды я отправился с компанией в поход, но почти сразу покинул её и вернулся к удобствам дома. А теперь передо мной тянулась унылая, бесконечная череда забот: накрывать на стол, чистить картошку, мыть посуду. К тому же я не отличался силой. Врачи всегда говорили, что от природы у меня крепкий организм, но я никогда не укреплял его упражнениями. Мышцы у меня были маленькие и мягкие, как у женщины, — врачи не раз повторяли это, пытаясь увлечь меня очередным модным способом укреплять тело. Но я предпочитал работать головой, а не телом и теперь был совершенно не готов к суровой жизни, которая меня ждала.

Это лишь малая часть мыслей, приходивших мне тогда

в голову. Я рассказываю о них, чтобы заранее объяснить ту слабую и беспомощную роль, которую мне предстояло сыграть. Думал я и о матери с сёстрами, представлял их горе. После гибели «Мартинеса» меня числили среди пропавших без вести и считали погибшим: тело так и не нашли. Я видел газетные заголовки; видел, как знакомые в Университетском клубе и «Библио» качают головами и говорят: «Бедняга!» Видел и Чарли Фэрасета таким, каким он был, когда я прощался с ним тем утром: в халате, полулежащим на заваленной подушками кушетке у окна и изрекающим мрачные афоризмы с видом оракула.

А всё это время шхуна «Призрак» раскачивалась и ныряла, взбиралась на движущиеся горы волн, падала в пенистые долины и барахталась там, пробиваясь всё дальше в глубь Тихого океана. И я был на ней. Сверху до меня доносился приглушённый рёв ветра. Время от времени над головой топали ноги. Всё вокруг непрерывно скрипело: деревянные части судна и его оснащение стонали, повизгивали и жаловались на тысячу ладов. Охотники всё ещё спорили и ревели, словно какая-то порода земноводных полулюдей. Воздух был полон ругательств и непристойностей. Я видел их раскрасневшиеся, злые лица. Болезненно-жёлтый свет судовых ламп, раскачивавшихся вместе со шхуной, искажал лица и ещё резче подчёркивал их грубость. Сквозь мутную завесу дыма койки казались логовами зверей в зверинце. На стенах висели непромокаемые плащи и морские сапоги; кое-где в

стойках стояли винтовки и дробовики. Эта морская обстановка вполне подошла бы корсарам и пиратам былых времён. Воображение разыгралось, а сон всё не приходил. И ночь тянулась долго, мучительно долго — унылая, изнуряющая, бесконечная.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Но первая ночь в кубрике охотников оказалась для меня и последней. На следующий день Волк Ларсен выгнал из каюты нового помощника капитана, Иогансена, и велел ему впредь спать в кубрике. Я же занял тесную отдельную каюту, где за первый день плавания уже успели пожить двое. Охотники скоро узнали причину перемены и принялись ворчать. Оказалось, каждую ночь Иогансен заново переживал во сне всё, что случилось за день. Он без умолку разговаривал, кричал и рявкал приказы. Волку Ларсену это надоело, и он сплавил беспокойного соседа охотникам.

После бессонной ночи я поднялся без сил, измученный болью, и, хромая, начал свой второй день на «Призраке». Томас Магридж выгнал меня из постели в половине шестого — примерно так, должно быть, Билл Сайкс выгонял своего пса. Но за жестокость ко мне господину Магриджу отплатили той же монетой, да ещё с лихвой. Поднятый им шум — я и так всю ночь пролежал с открытыми глазами — видимо, разбудил одного из охотников. В полумраке просвистел тяжёлый башмак, и господин Магридж с воплем принялся смиренно просить у всех прощения. Позже, в камбузе, я заметил, что ухо у него распухло и посинело. Прежнюю форму оно так и не обрело; матросы называли его «ухом — цветной капустой».

День принёс мне целую череду неприятностей. Ещё накануне вечером я забрал из камбуза высохшую одежду и первым делом переоделся, сняв вещи кока. Потом стал искать кошелёк. Кроме мелочи — а на такие вещи у меня хорошая память, — в нём лежало сто восемьдесят пять долларов золотом и банкнотами. Кошелёк нашёлся, но всё содержимое, кроме мелких серебряных монет, исчезло. Когда я поднялся на палубу, чтобы приступить к работе в камбузе, я заговорил об этом с коком. Я ждал грубого ответа, но к такой воинственной тираде готов не был.

— Слышь, Хамп, — начал он, злобно сверкнув глазами и едва не рыча. — Хочешь по морде схлопотать? Коли считаешь меня вором, держи это при себе, а то я тебе покажу, как ты ошибся. Чтоб мне ослепнуть, вот она, благодарность! Я тебя, жалкий человеческий отброс, пустил к себе в камбуз, обращался с тобой по-хорошему, а ты мне чем отплатил? В другой раз катись к чёрту. Да и сейчас руки чешутся тебя проучить.

С этими словами он поднял кулаки и двинулся ко мне. К стыду своему, я съёжился, уклоняясь от удара, и выбежал из камбуза. Что ещё мне оставалось? На этом судне, где властвовали звери, силу имела одна только сила. Убеждением здесь ничего нельзя было добиться. Представьте человека обычного роста, худощавого, со слабыми, неразвитыми мышцами; человека, который прожил мирную, спокойную жизнь и не привык к насилию. Что он мог сделать? У меня

было не больше причин стоять перед этими людьми-зверями, чем перед разъярённым быком.

Так рассуждал я тогда: мне хотелось оправдать себя и успокоить совесть. Но оправдание не помогало. Даже теперь, вспоминая те события, я не могу считать себя до конца оправданным. Случившееся выходило за пределы разумных правил поведения и требовало большего, чем холодный вывод рассудка. Если судить по строгой логике, стыдиться мне нечего. И всё же при этом воспоминании меня охватывает стыд. Мужская гордость говорит мне, что моё достоинство каким-то непостижимым образом было запятнано.

Впрочем, это к делу не относится. От стремительного бега колено пронзила мучительная боль, и я беспомощно опустился у переднего края кормовой палубы. Но кокни за мной не погнался.

— Глядите, как улепётывает! Глядите! — слышал я его крики. — И это с хромой-то ногой! Ну вернись, маменькин сыночек. Не трону я тебя, не трону.

Я вернулся и принялся за работу. На время этим дело и кончилось, хотя продолжение ещё ждало впереди. Я накрыл стол в кают-компании, а в семь часов подавал завтрак охотникам и офицерам. Шторм за ночь, по-видимому, утих, но по морю всё ещё ходили громадные волны и дул сильный ветер. Во время первых вахт поставили паруса, и теперь «Призрак» мчался, неся все паруса, кроме двух топселей и бомкливера. Из разговоров я понял, что и эти три паруса поста-

вят сразу после завтрака. Я также узнал, что Волк Ларсен хотел извлечь из шторма всю возможную пользу: тот гнал шхуну на юго-запад, в район, где капитан рассчитывал поймать северо-восточные пассаты. С этим ровным ветром он надеялся пройти большую часть пути до Японии: сначала забрать к югу, в тропики, а на подходе к берегам Азии вновь повернуть на север.

После завтрака меня ждало ещё одно тяжёлое испытание. Вымыв посуду, я вычистил печку в кают-компании и вынес золу на палубу, чтобы высыпать её за борт. У штурвала стояли Волк Ларсен и Гендерсон, поглощённые разговором. Правил матрос Джонсон. Когда я направился к наветренному борту, он вдруг дёрнул головой. Я принял это за приветственный кивок, а он пытался предупредить меня: золу надо высыпать с подветренной стороны. Не подозревая об ошибке, я прошёл мимо Волка Ларсена и охотника и швырнул золу за наветренный борт. Ветер погнал её обратно: она осыпала и меня, и Гендерсона, и Волка Ларсена. В следующее мгновение капитан с силой пнул меня — так пинают дворнягу. Я и представить не мог, сколько боли может причинить удар ногой. Пошатываясь, я отошёл и прислонился к стенке каюты, почти теряя сознание. Перед глазами всё плыло, меня затошнило. Тошнота одолела меня, и я кое-как дополз до борта. Но Волк Ларсен за мной не пошёл. Он стряхнул золу с одежды и продолжил разговор с Гендерсоном. Иогансен, видевший всё с кормовой палубы, послал двух матросов

убрать золу.

Позже тем же утром меня ожидало открытие совсем иного рода. По указанию кока я вошёл в каюту Волка Ларсена, чтобы прибраться и застелить койку. У стены, возле изголовья, висела полка, полная книг. Я пробежал взглядом по корешкам и с удивлением увидел имена Шекспира, Теннисона, По и Де Квинси. Были там и научные труды — Тиндала, Проктора, Дарвина. Я нашёл книги по астрономии и физике, заметил «Век мифов» Балфинча, «Историю английской и американской литературы» Шоу и двухтомную «Естественную историю» Джонсона. Нашлось и несколько учебников грамматики, в том числе Меткалфа, Рида и Келлога; увидев экземпляр «Английского языка декана», я улыбнулся.

После всего, что я видел в этом человеке, я не мог представить его за такими книгами и гадал, способен ли он вообще их читать. Но, взявшись застилать койку, я обнаружил между одеялами полное собрание сочинений Браунинга в кембриджском издании: видно, книга выпала у него из рук, когда он заснул. Она была раскрыта на «На балконе», и я заметил кое-где строки, подчёркнутые карандашом. Во время качки я выронил том, и из него выпал лист бумаги. Он был испещрён геометрическими чертежами и какими-то вычислениями.

Стало ясно: этот страшный человек не был неотёсанным невеждой, каким его неизбежно сочли бы после всех проявлений его жестокости. Теперь он превратился для меня в за-

гадку. Каждая из двух сторон его натуры сама по себе была понятна, но вместе они сбивали с толку. Я уже замечал, что говорил он превосходно, лишь изредка допуская небольшую неточность. Правда, в обычном разговоре с матросами и охотниками его речь порой прямо-таки кишела ошибками: сказывалось просторечие, которым он пользовался. Но те немногие слова, которыми он обменялся со мной, были ясными и правильными.

Мне довелось увидеть другую сторону его натуры, и это, должно быть, придало мне смелости: я решил заговорить с ним о пропавших деньгах.

— Меня обокрали, — сказал я немного погодя, застав его одного на кормовой палубе. Он ходил взад и вперёд.

— Сэр, — поправил он меня строго, но без грубости.

— Меня обокрали, сэр, — исправился я.

— Как это случилось? — спросил он.

Я рассказал ему всё: как оставил одежду сушиться на камбузе и как потом кок чуть не избил меня, когда я заговорил о пропаже.

Выслушав меня, он улыбнулся. — Пожива, — заключил он. — Пожива Кока. Или ваша жалкая жизнь не стоит этих денег? Считайте это уроком. Со временем научитесь сами беречь свои деньги. До сих пор этим, полагаю, занимался ваш адвокат или управляющий.

В его словах слышалась спокойная насмешка, но я всё же спросил: — Как мне вернуть деньги?

— Это уж ваша забота. Теперь у вас нет ни адвоката, ни управляющего, так что придётся полагаться на себя. Получили доллар — держите его крепче. Кто оставляет деньги без присмотра, как вы, тот заслуживает их потерять. И потом, вы согрешили. Нельзя вводить ближнего в искушение. Вы искусили Кока, и он пал. Вы поставили под угрозу его бессмертную душу. Кстати, вы верите в бессмертную душу?

Задавая вопрос, он лениво приподнял веки. Мне показалось, будто передо мной разверзлась бездна и я заглянул ему в душу. Но это было обманчивое впечатление. Никто никогда не проникал глубоко в душу Волка Ларсена — да и вообще не видел её. В этом я убеждён. Позже я понял, насколько одинока была эта душа. Она никогда не снимала маски, хотя изредка и делала вид, будто готова её снять.

— В ваших глазах я читаю бессмертие, — ответил я, опустив «сэр»: мне показалось, что наш разговор допускает такую близость.

Он не обратил на это внимания. — Значит, вы видите нечто живое. Но из того, что оно живо, ещё не следует, что ему жить вечно.

— Я вижу больше, — смело продолжал я.

— Тогда вы видите сознание. Видите, что жизнь сознаёт себя живой. Но и это ещё не означает, что она бесконечна.

Как ясно он мыслил и как точно выражал свои мысли! Он перестал разглядывать меня, повернул голову и посмотрел на свинцовое море с наветренной стороны. Взгляд его по-

мрачнел, складки у рта стали суровыми. Он явно был настроен мрачно.

— Тогда ради чего всё это? — внезапно спросил он, снова повернувшись ко мне. — Если я бессмертен — зачем?

Я замялся. Как объяснить этому человеку мой идеализм? Как выразить словами то, что я лишь чувствовал, — нечто похожее на музыку, услышанную во сне, нечто, в чём я был уверен, но чего не мог высказать?

— А во что верите вы? — спросил я в ответ.

— Я верю, что жизнь — это месиво, — без промедления сказал он. — Она словно дрожи, словно бродящая масса. Она движется минуту, час, год или сто лет, а потом всё равно замирает. Большие пожирают маленьких, чтобы продолжать двигаться; сильные пожирают слабых, чтобы сохранить силу. Кому повезло, тот ест больше и движется дольше. Вот и всё. Что вы скажете о тех людях?

Он нетерпеливо махнул рукой в сторону нескольких матросов, которые возились с канатами посреди судна.

— Они движутся. Медуза тоже движется. Они движутся, чтобы есть, и едят, чтобы продолжать двигаться. Вот и всё. Они живут ради брюха, а брюхо служит им. Замкнутый круг: никуда не придёшь. И они никуда не приходят. В конце концов останавливаются. Больше не движутся. Умирают.

— У них есть мечты, — перебил я, — светлые, сияющие мечты...

— О жратве, — веско закончил он.

— И не только...

— О жратве. О том, чтобы аппетит был побольше и чаще выпадала удача его насытить. — Голос его звучал резко. Он ничуть не шутил. — Сами посудите: они мечтают об удачных рейсах, которые принесут им больше денег, о том, чтобы стать помощниками капитана, нажить состояние. Короче, они мечтают о том, как бы ловчее пожирать других: спать всю ночь, не выходя на вахту, хорошо есть и сваливать грязную работу на кого-нибудь ещё. Мы с вами такие же. Разница лишь в том, что мы ели больше и лучше. Сейчас я пожираю их, да и вас тоже. Но прежде вы пожирали больше, чем я. Вы спали в мягких постелях, носили хорошую одежду, ели вкусную пищу. Кто сделал эти постели? Сшил одежду? Добыл пищу? Не вы. Вы ничего не создали своим трудом, своим потом. Вы живёте на доходы, заработанные вашим отцом. Вы похожи на птицу-фрегата: она налетает на олуш и отнимает пойманную ими рыбу. Вы из тех людей, которые создали то, что называют правительством, стали хозяевами остальных и едят пищу, добытую теми, кто сам хотел бы её съесть. Вы носите тёплую одежду. Они её сшили, а сами дрожат в лохмотьях и просят работы у вас, у вашего адвоката или у управляющего, который распоряжается вашими деньгами.

— Но это не имеет отношения к нашему разговору! — воскликнул я.

— Самое прямое. — Теперь он говорил быстро, глаза его сверкали. — Это свинство, и это жизнь. К чему бессмертное

свинство? Ради какой цели? В чём смысл? Вы не добыли ни куска пищи. А тем, что вы съели или выбросили, можно было спасти двадцать несчастных, которые добывали эту пищу, но сами её не ели. Какой бессмертной цели послужили вы? А они? Возьмём нас с вами. Чего стоит ваше хвалёное бессмертие, когда ваша жизнь сталкивается с моей? Вам хочется вернуться на сушу: там вашему свинству раздолье. А мне вздумалось оставить вас на этом судне, где раздолье моему. И я вас оставляю. Я могу поднять вас или сломать. Вы можете умереть сегодня, на этой неделе или в следующем месяце. Я мог бы убить вас прямо сейчас одним ударом кулака — вы жалкий слабак. Но если мы бессмертны, для чего всё это? Всю жизнь мы с вами жили по-свински. Разве этим пристало заниматься бессмертным? Так в чём же смысл? Почему я держу вас здесь?..

— Потому что вы сильнее, — с трудом выпалил я.

— Но почему я сильнее? — тут же продолжил он свои бесконечные вопросы. — Потому что я более крупный комок в этой бродящей массе? Неужели не видите? Неужели?

— Но ведь тогда всё безнадёжно, — возразил я.

— Согласен, — ответил он. — Так зачем вообще двигаться, если движение и есть жизнь? Не будь движения, не будь мы частью этой бродящей массы, не было бы и безнадежности. Но вот в чём дело: мы хотим жить и двигаться, хотя причин для этого у нас нет. Просто такова природа жизни — жить, двигаться и хотеть жить и двигаться. Иначе жизнь

была бы мертва. Это жизнь внутри вас заставляет вас мечтать о бессмертии. Она жива и хочет оставаться живой вечно. Тьфу! Вечное свинство!

Он резко повернулся и зашагал к носу. У края кормовой палубы он остановился и подозвал меня.

— Кстати, сколько Кок у вас стащил? — спросил он.

— Сто восемьдесят пять долларов, сэр, — ответил я.

Он кивнул. Через мгновение, когда я спускался по трапу накрывать стол к обеду, я услышал, как он громко ругает матросов посреди судна.

ГЛАВА VI

К следующему утру шторм окончательно выдохся. «Призрак» слегка покачивался на спокойном море; ветра не было. Временами, правда, налетало лёгкое дуновение, и Волк Ларсен без конца ходил по кормовой палубе, вглядываясь в море на северо-востоке: оттуда должен был прийти могучий пассат.

Все были на палубе и готовили шлюпки к сезону охоты. На борту их семь: капитанская лодка и ещё шесть для охотников. В каждой промысловой шлюпке трое: охотник, гребец и рулевой. Гребцы и рулевые составляют матросскую команду шхуны. Охотникам полагается также командовать вахтами, но все они подчиняются приказам Волка Ларсена.

Всё это и многое другое я успел узнать. «Призрак» считается самой быстроходной шхуной среди промысловых судов Сан-Франциско и Виктории. Когда-то она была частной яхтой, построенной ради скорости. Даже мне, человеку несведущему, её обводы и оснастка говорят сами за себя. Джонсон рассказал мне о ней вчера, когда мы ненадолго разговорились во время второй короткой вечерней вахты. Он говорил с восторгом, с каким иной человек говорит о прекрасной лошади. Предстоящий рейс ему совсем не по душе. Насколько я понял, среди капитанов промысловых шхун Волк Ларсен пользуется дурной славой. Джонсон нанялся на этот

рейс, соблазнившись самой шхуной, и уже начинает об этом жалеть.

По его словам, «Призрак» — восьмидесятитонная шхуна на редкость изящных обводов. Ширина её — двадцать три фута, длина — чуть больше девяноста. Свинцовый киль невероятного, хотя и неведомого веса придаёт ей большую остойчивость, а площадь её парусов огромна. От палубы до клотика грот-стенги больше ста футов; фок-мачта со стеньгой ниже на восемь или десять футов. Я привожу эти размеры, чтобы можно было представить себе крошечный плавающий мир, в котором живут двадцать два человека. И вправду крошечный: пылинки, точка. Мне удивительно, что люди отваживаются выходить в море на таком маленьком и хрупком сооружении.

Волк Ларсен известен ещё и тем, что безрассудно перегружает шхуну парусами. Я слышал, как об этом говорили Гендерсон и другой охотник, калифорниец Стэндиш. Два года назад, во время шторма в Беринговом море, «Призрак» по его вине лишился мачт. Тогда и поставили нынешние — во всех отношениях прочнее и тяжелее прежних. Говорят, он заметил при этом, что предпочёл бы опрокинуть шхуну, чем снова потерять мачты.

У каждого на борту, кроме Иогансена, которого несколько ошеломило повышение, кажется, найдётся оправдание тому, что он попал на «Призрак». Половина матросов, живущих в носовой части шхуны, — моряки дальнего плавания; они

оправдываются тем, что ничего не знали ни о шхуне, ни о её капитане. А те, кто знает, шепчутся, что охотники, при всей своей меткости, так прославились склочностью и плутовством, что ни на одну порядочную шхуну их бы не взяли.

Я познакомился ещё с одним членом команды — Луисом, кругленьким, весёлым на вид ирландцем из Новой Шотландии. Он человек общительный и готов говорить, пока его кто-нибудь слушает. После полудня, когда кок спал внизу, а я чистил бесконечную картошку, Луис заглянул в камбуз поболтать. Он объяснил, что нанялся сюда пьяным. Снова и снова повторял: трезвым он бы ни за что на такое не пошёл. Оказалось, он ходит на промысел морских котиков каждый сезон уже двенадцать лет и считается одним из двух или трёх лучших рулевых во флотах Сан-Франциско и Виктории.

— Эх, парень, — сказал он, зловеще качая головой, — хуже шхуны ты выбрать не мог. И ведь ты, в отличие от меня, трезвый был. Промысел морских котиков — рай для моряка, только на других судах. Помощник капитана был первым, но помяни моё слово: до конца рейса покойников ещё прибавится. Только тсс, между нами и вот этой стойкой: Волк Ларсен — сущий дьявол, а «Призрак» при нём всегда был и будет адской посудиною. Уж мне ли не знать? Мне ли не знать? Разве забыл я, как два года назад в Хакодате он повздорил со своими людьми и застрелил четверых? Я тогда был на «Эмме Л.», меньше чем в трёхстах ярдах от них. В том же году он убил человека одним ударом кулака. Да, сэр, убил напо-

вал. Голова у бедняги, должно быть, раскололась, как яичная скорлупа. А губернатор острова Кура и начальник полиции? Японские господа, сэр. Они поднялись на «Призрак» как гости, вместе с жёнами — крошечными красавицами, каких рисуют на веерах. А когда шхуна тронулась, любящих супругов будто бы случайно оставили за кормой в их сампане. Неделью спустя бедных женщин высадили на другой стороне острова. Им оставалось только идти домой через горы в своих крохотных соломенных сандалиях, которые и мили бы не выдержали. Уж мне ли не знать? Зверь он, этот Волк Ларсен, тот самый огромный зверь, о котором сказано в Откровении. Добром он не кончит. Но я тебе ничего не говорил, учти. Ни словечка не шепнул. Старый толстяк Луис доживёт до конца рейса, даже если все вы, до последнего материнского сынка, пойдёте на корм рыбам.

— Волк Ларсен! — фыркнул он минуту спустя. — Ты только вслушайся: волк! Таков он и есть. У иных людей сердце чёрное, а у него сердца вовсе нет. Волк, самый настоящий волк. Удивляешься, что имя ему так подходит?

— Но если все знают, что он за человек, — спросил я, — как ему удаётся набирать команду?

— А как вообще удаётся уговорить людей сделать хоть что-нибудь на божьей земле или на море? — с ирландским жаром отозвался Луис. — Разве я оказался бы здесь, если бы не напился как свинья, когда ставил подпись? Одних, вроде охотников, получше капитаны не берут. Другие ничего не

знают — вон те бедолаги с больших парусников, что живут в носу. Но узнают, ещё как узнают, и проклянут день своего рождения. Я бы заплакал над ними, если бы не вспоминал о бедном старом толстяке Луисе и о том, какие беды ждут его самого. Только я тебе ничего не шепнул, учти. Ни слова.

— А охотники-то — отъявленные негодяи, — заговорил он снова: молчать ему, видно, не позволяла сама природа. — Вот погоди, начнут они дурить да скандалить. Он быстро их утихомирит. Он-то вложит страх божий в их гнилые чёрные сердца. Взять хотя бы моего охотника, Хорнера. «Джок» Хорнер, как его зовут. Такой тихий, покладистый, говорит мягко, точно девушка: подумаешь, и воды не замутит. А разве не убил он в прошлом году своего рулевого? Объявили несчастным случаем, да только я встретил в Йокогаме их гребца, и тот рассказал, как всё было на самом деле. А Смок, этот маленький чёрный дьявол? Русские ведь продержали его три года на соляных копях в Сибири за браконьерство на острове Медном, который они объявили заповедным. Его и товарища сковали по рукам и ногам. Потом они повздорили или подрались — уж не знаю. Только товарища Смок отправил наверх в рудничных бадьях. По частям: сегодня ногу, завтра руку, на следующий день голову — и так далее.

— Но ведь вы не всерьёз! — вскричал я, охваченный ужасом.

— Что не всерьёз? — мгновенно вскинулся он. — Да я ничего и не говорил. Глух я и нем, как и тебе следовало бы

быть ради твоей матери. Я и рта не раскрывал, разве что помянуть добрым словом их да его самого. Чтоб Бог проклял его душу! Чтоб он десять тысяч лет гнил в чистилище, а потом провалился в самый глубокий ад!

Джонсон, тот самый матрос, который натёр мне кожу до ссадин, когда я только попал на судно, казался самым прямым человеком на всей шхуне. Да он и вправду не умел кривить душой. С первого взгляда в нём чувствовались честность и мужская твёрдость, смягчённые скромностью, которую можно было принять за робость. Но робким он не был. Он твёрдо стоял на своём и знал себе цену. Потому-то в самом начале нашего знакомства он и потребовал, чтобы его не называли Йонсоном. Луис вынес свой приговор Джонсону и предсказал, что будет дальше.

— Славный малый этот наш Джонсон, скандинав из кубрика, — сказал он. — Лучший моряк среди тамошних матросов. Он у меня гребец. Только с Волком Ларсеном у него непременно выйдет беда — так же верно, как искры летят вверх. Уж я-то знаю. Вижу, как она назревает, словно гроза. Я говорил с ним по-братски, да он и слышать не хочет о том, чтобы пригасить свои огни или поднять ложный сигнал. Что ему не по нраву, то он сразу высказывает, а до Волка всегда найдётся кому донести. Волк силен, а волки чужую силу ненавидят. В Джонсоне он её увидит: тот не станет гнуть спину и отвечать на брань или удар: «Да, сэр, покорно благодарю, сэр». Ох, надвигается беда! Надвигается! И одному

Богу известно, где я возьму другого гребца. Что этот дурень сказал, когда Старик назвал его Йонсоном? «Моя фамилия Джонсон, сэр», — да ещё произнёс её по буквам. Видел бы ты лицо Старика! Я думал, он тут же его ударит. Тогда не ударил, но ещё ударит. И разобьёт этому скандинаву сердце, если только я хоть что-нибудь понимаю в морских порядках.

Томаса Магриджа становится невозможно терпеть. При каждом обращении я вынужден величать его «мистером Магриджем» и «сэром». Одна из причин в том, что Волк Ларсен, кажется, к нему благоволит. Насколько я понимаю, дружба капитана с коком — дело неслыханное, но Волк Ларсен именно так себя с ним и ведёт. Два или три раза он заглядывал в камбуз и добродушно подтрунивал над Магриджем, а сегодня после полудня простоял у уступа кормовой палубы, беседуя с ним целых пятнадцать минут. Вернувшись в камбуз, Магридж весь сиял, лоснясь от жира, и принялся за работу. При этом он напевал песенки лондонских уличных торговцев пронзительным, фальшивым голосом, от которого у меня сводило нервы.

— Я с начальством завсегда лажу, — доверительно сообщил он мне. — Уж я-то знаю, как сделать, чтоб меня ценили. Вот на прошлом судне капитан был — так я запросто спускался к нему в каюту поболтать и по стаканчику выпить. «Магридж, — говорит, — Магридж, ты своё призвание упустил». А я ему: «Это как же?» А он: «Тебе бы джентльменом родиться, чтоб не пришлось на хлеб себе зарабатывать».

Чтоб мне на месте помереть, Хамп, если не так он и сказал! А я сижу у него в каюте как свой: покуриваю его сигары да попиваю его ром.

От этой болтовни я сходил с ума. Никогда ещё ничей голос не был мне так ненавистен. Его елеинный, вкрадчивый тон, сальная улыбка и чудовищное самомнение так действовали мне на нервы, что порой меня всего начинало трясти. Более отвратительного человека я не встречал. Невозможно описать, в какой грязи он готовил пищу. А поскольку всю еду на шхуне готовил он, мне приходилось с величайшей осторожностью выбирать из его стряпни то, что казалось наименее грязным.

Много мучений доставляли мне и руки, непривычные к работе. Ногти потемнели до черноты, а грязь уже въелась в кожу так глубоко, что её не брала даже жёсткая щётка. Потом один за другим стали появляться волдыри — болезненные, нескончаемые. Предплечье я сильно обжёг, когда при качке потерял равновесие и налетел на камбузную плиту. Колену тоже не становилось лучше. Опухоль не спадала, коленная чашечка по-прежнему стояла ребром. С утра до ночи я хромал на этой ноге, и легче ей от этого не делалось. Если колено вообще могло зажить, ему нужен был покой.

Покой! Прежде я и не знал, что значит это слово. Я отдыхал всю жизнь, сам того не сознавая. Теперь же полчаса посидеть неподвижно и ничего не делать, даже не думать, было бы для меня величайшим наслаждением. Но труд открыл мне

глаза и на другое. Отныне я сумею по-настоящему оценить жизнь людей, которым приходится работать. Мне и во сне не снилось, что работа может быть такой тяжёлой. С половины шестого утра до десяти вечера я раб у всех, и ни одной минуты у меня нет для себя, кроме тех, что удаётся украсть под конец второй короткой вечерней вахты. Стоит мне на минутку остановиться и посмотреть на сверкающее под солнцем море, на матроса, который лезет к гафель-топселям или выбирается на бушприт, как непременно раздаётся ненавистный голос: «Эй, Хамп, не отлынивай! Я за тобой гляжу».

Среди охотников заметно нарастает раздражение, и ходят слухи, что Смок и Гендерсон подрались. Гендерсон кажется мне лучшим из охотников: человек неторопливый, которого трудно вывести из себя. Однако Смоку, должно быть, это удалось: глаз у него был подбит и заплыл, а когда он пришёл ужинать в каюту, вид у него был особенно злобный.

Перед ужином случилось жестокое происшествие, показавшее, насколько чёрствы и грубы эти люди. Среди матросов есть один новичок, Гаррисон, неуклюжий с виду деревенский парень. Полагаю, жажда приключений погнала его в первое плавание. При слабом, переменчивом ветре шхуне часто приходилось менять галс. Тогда паруса переходили с одного борта на другой, а кого-нибудь из матросов посылали наверх перенести фок-гафель-топсель. Когда наверху был Гаррисон, шкот каким-то образом заело в блоке на конце гафеля. Насколько я понял, освободить его можно было двумя

способами: спустить фок — сравнительно просто и без риска — или добраться по пик-фалам до самого конца гафеля. Это было чрезвычайно опасно.

Иогансен крикнул Гаррисону, чтобы тот шёл по фалам. Всем было ясно, что парень боится. И было чего бояться: в восьмидесяти футах над палубой ему предстояло доверить себя тонким канатам, которые непрерывно дёргались. При ровном ветре это было бы ещё не так страшно, но «Призрак» без ветра раскачивался на длинной океанской зыби. При каждом крене парусина хлопала и гулко била, а фалы то провисали, то резко натягивались. Такой рывок мог стряхнуть человека, словно муху с кончика хлыста.

Гаррисон услышал приказ и понял, чего от него требуют, но замешкался. Вероятно, он впервые в жизни оказался так высоко на снастях. Иогансен, перенявший властную манеру Волка Ларсена, осыпал его бранью и проклятиями.

— Хватит, Иогансен, — резко сказал Волк Ларсен. — На этом судне ругаюсь я. Понадобится твоя помощь — позову.

— Есть, капитан, — покорно ответил помощник.

Тем временем Гаррисон двинулся по фалам. Я смотрел на него из дверей камбуза и видел, как он дрожит всем телом, словно в лихорадке. Он продвигался медленно и осторожно, дюйм за дюймом. На фоне чистого голубого неба он казался огромным пауком, ползущим по нитям своей паутины.

Ему приходилось немного подниматься: гафель фок был задран высоко, а фалы, пропущенные через блоки на гафе-

ле и мачте, давали опору и рукам, и ногам. Беда была в том, что ветер дул слишком слабо и неровно, чтобы держать парус наполненным. Когда Гаррисон добрался до середины, «Призрак» сильно качнулся к ветру, а затем скатился во впадину между двумя волнами. Гаррисон замер и крепко вцепился в фалы. С палубы, в восьмидесяти футах под ним, я видел, как мучительно напряглись его мышцы: он держался из последних сил. Парус обвис, гафель метнулся к середине судна. Фалы ослабли, и, хотя всё произошло очень быстро, я успел увидеть, как они провисли под тяжестью его тела. Потом гафель резко рванулся вбок, огромный парус грохнул, как пушечный выстрел, а три ряда риф-сезней застучали по парусине, словно ружейный залп. Цепляясь за фалы, Гаррисон с головокружительной скоростью пронёсся по воздуху. Рывок внезапно оборвался. Фалы вмиг натянулись — будто щёлкнул хлыст. Одна рука Гаррисона сорвалась. Другая ещё мгновение отчаянно держалась, но тоже отпустила фал. Он полетел вниз, однако каким-то образом сумел зацепиться ногами. Теперь он висел вниз головой. Рывком он снова ухватился руками за фалы, но лишь спустя долгое время сумел вернуться в прежнее положение. Он повис на них — жалкое зрелище.

— Держу пари, за ужином у него аппетита не будет, — донёсся до меня из-за угла камбуза голос Волка Ларсена. — Отойди из-под него, Иогансен! Берегись! Сейчас польётся! Гаррисона и вправду сильно тошнило, словно от морской

болезни. Долгое время он цеплялся за свою ненадёжную опору, не пытаясь сдвинуться с места. Иогансен же яростно по-
нукал его закончить работу.

— Позор, — проворчал Джонсон на мучительно медленном, но правильном английском. Он стоял у грот-вант, в нескольких шагах от меня. — Парень старается. Дайте ему возможность — научится. Но это... — Он помолчал. — Убийство.

— Тише ты! — шепнул ему Луис. — Ради матери своей, закрой рот!

Но Джонсон продолжал смотреть наверх и ворчать.

— Послушайте, — обратился охотник Стэндиш к Волку Ларсену, — это мой гребец. Я не хочу его лишиться.

— Всё верно, Стэндиш, — ответил Ларсен. — Когда он сидит с тобой в шлюпке, он твой гребец. А на борту он мой матрос, и я буду делать с ним всё, что мне, чёрт возьми, вздумается.

— Но это ещё не причина... — быстро и горячо заговорил Стэндиш.

— Довольно. Полегче, — оборвал его Волк Ларсен. — Я тебе всё объяснил, на этом и кончим. Человек мой, и, захочу, сварю из него похлёбку и съем.

Глаза охотника зло блеснули. Он повернулся, подошёл к трапу, ведущему в кубрик, и остался там, глядя вверх. Теперь вся команда была на палубе, и все смотрели туда, где человек боролся со смертью. Меня ужасало бессердечие лю-

дей, которым устройство этого промысла давало власть над чужими жизнями. Я жил в стороне от мирской суеты и не мог вообразить, что повседневная работа совершается таким образом. Человеческая жизнь всегда казалась мне чем-то особенно священным, а здесь она ничего не стоила — была нулём в торговых расчётах. Надо, впрочем, сказать, что сами матросы сочувствовали Гаррисону — достаточно вспомнить Джонсона. Но те, кто ими распоряжался, — охотники и капитан — оставались бездушно равнодушны. Даже Стэндиш возмутился лишь потому, что не хотел потерять своего гребца. Будь это гребец другого охотника, Стэндиш, как и остальные, только позабавился бы.

Но вернусь к Гаррисону. Иогансен целых десять минут осыпал несчастного руганью, прежде чем тот снова двинулся. Вскоре Гаррисон добрался до конца гафеля. Сидя верхом на нём, он мог держаться увереннее. Он освободил шкот и теперь мог возвращаться по фалам к мачте — уже немного под уклон. Но решимость покинула его. Каким бы опасным ни было место, где он сидел, покидать его ради ещё более опасного пути по фалам он не решался.

Он посмотрел на путь, который предстояло пройти по воздуху, потом вниз, на палубу. Глаза его были широко раскрыты и застыли, его сильно трясло. Никогда прежде я не видел, чтобы страх так ясно отпечатался на человеческом лице. Иогансен напрасно кричал ему, чтобы он спускался. В любой миг его могло сорвать с гафеля, но от ужаса он не мог

пошевелиться. Волк Ларсен расхаживал по палубе, беседуя со Смоком, и больше не обращал на Гаррисона внимания. Лишь однажды он резко крикнул человеку у штурвала:

— Ты сбился с курса! Смотри у меня, если не хочешь неприятностей!

— Есть, капитан, — ответил рулевой, повернув штурвал на две спицы.

Он отвёл «Призрак» на несколько румбов от курса, чтобы слабый ветер наполнил фок и удержал его ровно. Так он пытался помочь несчастному Гаррисону, рискуя навлечь на себя гнев Волка Ларсена.

Время шло, и ожидание становилось для меня невыносимым. Томас Магридж, напротив, считал происходящее забавным и то и дело высовывался из дверей камбуза с шуточками. Как я его ненавидел! В тот страшный час ненависть моя росла и росла, пока не достигла циклопических размеров. Впервые в жизни мне захотелось убить человека: у меня, как пишут иные беллетристы, «перед глазами встала красная пелена». Жизнь вообще ещё могла быть священна, но жизнь Томаса Магриджа утратила для меня всякую святость. Осознав, какая ярость меня охватила, я испугался. В голове мелькнула мысль: неужели жестокость, окружавшая меня, заражала и меня — человека, который даже за самые вопиющие преступления считал смертную казнь несправедливой и неправедной?

Прошло добрых полчаса, и я заметил, что Джонсон о чём-

то спорит с Луисом. Наконец Джонсон сбросил с плеча удерживавшую его руку Луиса и шагнул вперёд. Он пересёк палубу, вскочил на фок-ванты и начал взбираться. Но зоркий глаз Волка Ларсена сразу его заметил.

— Эй, ты! Куда полез? — крикнул он.

Джонсон замер на вантах. Он посмотрел капитану прямо в глаза и медленно ответил:

— Я иду снять парнишку.

— А ну слезай с вант, да поживее, чёрт тебя поberi! Слышишь? Вниз!

Джонсон замешкался. Но за долгие годы он привык подчиняться судовым капитанам, и привычка взяла верх. Он угрюмо спустился на палубу и пошёл на нос.

В половине шестого я спустился в каюту накрывать стол, но почти не сознавал, что делаю. Перед глазами у меня стоял бледный, дрожащий человек: он нелепо походил на жука, вцепившегося в мечущийся гафель. В шесть часов я подавал ужин и, выйдя на палубу за едой из камбуза, увидел Гаррисона всё на том же месте, в той же позе. За столом говорили о другом. Казалось, никого не занимала человеческая жизнь, безрассудно поставленная под угрозу. Но чуть позже мне пришлось снова сходить на камбуз, и я с радостью увидел, как Гаррисон, едва держась на ногах, бредёт от вант к люку кубрика. Наконец он набрался смелости спуститься.

Прежде чем закончить рассказ об этом случае, я должен привести короткий разговор с Волком Ларсеном. Он произо-

шёл в каюте, пока я мыл посуду.

— Вас сегодня днём прямо мутило, — начал он. — Что с вами было?

Я видел: он прекрасно знает, отчего мне стало едва ли не так же дурно, как Гаррисону, и нарочно вытягивает из меня ответ. Я сказал: «От того, как жестоко вы обошлись с парнем».

Он коротко рассмеялся. «Вроде морской болезни, надо полагать. Одних укачивает, других нет».

— Это не одно и то же, — возразил я.

— Именно одно и то же, — продолжал он. — На земле жестокости столько же, сколько в море качки. Одних тошнит от первого, других — от второго. Вот и вся причина.

— Но вы же глумитесь над человеческой жизнью! Неужели она для вас совсем ничего не стоит? — спросил я.

— Стоит? Сколько? — Он смотрел на меня не мигая, но в глазах его словно таилась насмешка. — О какой ценности вы говорите? Чем её измерить? Кто её ценит?

— Я ценю, — ответил я.

— Тогда сколько она стоит для вас? Жизнь другого человека, я имею в виду. Ну же, сколько?

Ценность жизни? Как выразить её в чём-то осязаемом? Мне, человеку, который всегда умел находить слова, рядом с Волком Ларсеном почему-то изменяла речь. Позднее я понял, что отчасти виной была сила его личности, но главным образом — его совершенно иной взгляд на мир. С другими

материалистами, которых я встречал, у меня находилась хоть какая-то общая почва; с ним её не было вовсе. Возможно, меня сбивала с толку и первобытная простота его ума. Он сразу добирался до сути, отбрасывая всё лишнее, и говорил с такой уверенностью, будто вопрос уже решён. А я словно барахтался на глубине, не чувствуя дна под ногами. Ценность жизни? Как ответить на такой вопрос с ходу? Святость жизни я принимал как аксиому. То, что жизнь ценна сама по себе, казалось мне истиной, которую незачем доказывать. Но стоило ему поставить её под сомнение, и я онемел.

— Мы говорили об этом вчера, — сказал он. — Я утверждал, что жизнь — это брожение, какая-то закваска, которая пожирает другую жизнь, чтобы жить самой, а жить — значит лишь преуспевать в свинской прожорливости. Если закон спроса и предложения хоть чего-нибудь стоит, жизнь — самое дешёвое, что есть на свете. Воды на земле лишь столько-то, суши — столько-то, воздуха — столько-то, а жизням, стремящимся появиться на свет, нет числа. Природа расточительна. Посмотрите на рыб и миллионы их икринок. Да что там рыбы — возьмите нас с вами. В нас с вами заложена возможность миллионов жизней. Будь у нас время и возможность дать жизнь всем до единой, мы стали бы отцами народов и заселили материки. Жизнь? Тьфу! Никакой цены у неё нет. Из всего дешёвого она дешевле всего. Повсюду она напрашивается, да никому не нужна. Природа разбрасывает её полной горстью. Где хватило бы места одной жизни, она

сеет тысячу. И жизнь пожирает жизнь, пока не останется самая сильная и самая прожорливая.

— Вы читали Дарвина, — сказал я. — Но вы неверно его поняли, если решили, что борьба за существование оправдывает ваше бессмысленное истребление жизнью.

Он пожал плечами. «Вы ведь говорите только о человеческой жизни. Животных, птиц и рыб вы убиваете не меньше, чем я или кто-либо другой. А человеческая жизнь ничем от них не отличается, хотя вы чувствуете разницу и думаете, будто можете её объяснить. С чего бы мне беречь эту дешёвую, ничего не стоящую жизнь? Матросов больше, чем судов, на которых они могли бы плавать; рабочих больше, чем фабрик и машин, за которыми они могли бы работать. Вы, сухопутные люди, селите бедняков в городских трущобах, обрекаете их на голод и поварные болезни. И всё равно бедняков, умирающих без корки хлеба и куска мяса — тоже отнятой жизни, — остаётся больше, чем вы знаете куда деть. Вы когда-нибудь видели, как лондонские портовые грузчики дерутся, словно звери, за возможность поработать?»

Он направился к трапу, но обернулся, чтобы сказать напоследок: «Знаете, единственная цена жизни — та, которую она сама себе назначает. И, разумеется, цена эта завышена: жизнь неизбежно судит в собственную пользу. Возьмите того парня, которого я отправил наверх. Он держался так, будто был сокровищем дороже алмазов и рубинов. Для вас? Нет. Для меня? Нисколько. Для себя? Да. Но я с его оценкой

не согласен. Он сильно переоценивает себя. Других жизней, стремящихся появиться на свет, сколько угодно. Сорвись он вниз, растекись его мозги по палубе, как мёд из сот, — мир ничего бы не потерял. Для мира он ничего не стоит. Предложение слишком велико. Ценен он был только для себя. А насколько мнима даже эта ценность, видно из того, что после смерти он не признавал бы своей потери. Лишь сам он считал себя дороже алмазов и рубинов. Алмазы и рубины растеклись бы по палубе, и их смыло бы ведром морской воды. А он даже не узнал бы, что они исчезли. Он ничего не теряет: вместе с собой он утрачивает и способность признавать потерю. Понимаете? Ну, что скажете?»

— По крайней мере, вы последовательны, — только и смог ответить я и продолжил мыть посуду.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наконец, после трёх дней переменчивых ветров, мы поймали северо-восточный пассат. Несмотря на больное колено, я хорошо выпался. Выйдя на палубу, я увидел, как «Призрак» мчитя, взбивая пену. Паруса были разнесены по обоим бортам; свежий ветер дул с кормы и наполнял их все, кроме кливеров. Чудо этот великий пассат! Мы шли весь день, всю ночь, следующий день и ещё один — день за днём, а ветер неизменно дул в корму, ровно и сильно. Шхуна словно шла сама. Матросам не приходилось ни выбирать шкоты и тали, ни переключивать топсели. Вся их работа сводилась к тому, чтобы стоять у штурвала. На закате шкоты ослабляли, а утром, когда они высыхали от росы и провисали, снова натягивали. И всё.

То десять узлов, то двенадцать, то одиннадцать — такова наша скорость. А с северо-востока всё дует могучий ветер, и от рассвета до рассвета мы проходим по своему курсу двести пятьдесят миль. Мне и грустно, и радостно от того, как быстро остаётся позади Сан-Франциско и как стремительно мы несёмся сквозь пену навстречу тропикам. С каждым днём заметно теплеет. Во вторую короткую вечернюю вахту матросы выходят на палубу раздетыми, черпают воду за бортом и окатывают друг друга из вёдер. Уже показываются летучие рыбы, а ночью вахтенные гоняются по палубе за теми, что

падают на судно. По утрам, если Томаса Магриджа как следует задобрить, из камбуза приятно тянет жареной летучей рыбой. А когда Джонсону удаётся поймать с конца бушприта одну из сверкающих красавиц-корифен, её мясо подают и на носу, и на корме.

Кажется, всё свободное время Джонсон проводит на бушприте или наверху, у салингов, наблюдая, как «Призрак» под всеми парусами рассекает воду. В его глазах — страсть, почти поклонение. Он ходит словно зачарованный и восторженно глядит то на тугие паруса, то на пенную полосу за кормой, то на шхуну, которая взлетает и сбегает по водяным горам. Они величавой чередой движутся вместе с нами.

Дни и ночи полны «чудес и дикого восторга». Тягостная работа почти не оставляет мне времени, но я краду минуты, чтобы смотреть и смотреть на нескончаемое великолепие, о существовании которого прежде и не подозревал. Над головой — безупречно синее небо, такое же синее, как море, которое под форштевнем цветом и блеском напоминает лазурный атлас. По всему горизонту стоят бледные, лёгкие облака. Они не меняются и не движутся, словно серебряная оправка чистой бирюзы небес.

Мне не забыть одной ночи, когда я, вместо того чтобы спать, лежал на носовой палубе и смотрел вниз, на призрачную рябь пены, которую раздвигал форштевень «Призрака». Пена журчала, как ручей над мшистыми камнями в тихой долине. Её напев увлёк меня прочь от самого себя. Я уже не

был ни Хампом, юнгой, ни Ван-Вейденом, человеком, который тридцать пять лет прожил среди книг, предаваясь мечтам. Но за спиной раздался голос Волка Ларсена — голос, который нельзя было не узнать. В нём звучали непоколебимая уверенность и удовольствие от строк, которые он произносил:

— О, пламенная тропическая ночь! Светящийся рубец за кормой укрощает жаркое небо. Нос мерно храпит над водой, припорошённой звёздами, где испуганный кит бьёт хвостом в огненных вспышках. Солнце иссекло её обшивку, милая, а от росы туго натянуты снасти. Мы летим старым путём, своим путём, путём в дальние края. Нас несёт на юг по Дальнему пути — пути, который всегда нов.

— Ну что, Хамп? Как тебе? — спросил он, выдержав паузу, которой требовали и слова, и эта ночь.

Я посмотрел ему в лицо. Оно светилось, как само море, а глаза сверкали при свете звёзд.

— Меня, по меньшей мере, удивляет, что вы способны испытывать восторг, — холодно ответил я.

— Да ведь это жизнь, человек! Сама жизнь! — воскликнул он.

— Которая дешева и ничего не стоит, — бросил я ему его же слова.

Он рассмеялся. Впервые я услышал в его голосе неподдельное веселье.

— Ах, никак мне не втолковать вам, что это за штука —

жизнь. Конечно, жизнь ничего не стоит ни для кого, кроме самой себя. И уж поверьте, моя жизнь сейчас для меня весьма ценна. Ей цены нет. Согласитесь, оценка чудовищно завышенная. Но я ничего не могу с этим поделать: её назначает жизнь, которая сидит во мне.

Казалось, он подыскивал слова для своей мысли. Наконец он продолжил:

— Знаете, меня охватывает странный подъём. Будто во мне отзываются все времена, будто мне подвластны все силы. Я знаю истину, отличаю божественное добро от зла, правое от неправого. Вижу ясно и далеко. Я почти готов поверить в Бога. Но... — голос его переменялся, свет погас в лице, — что это за состояние? Эта радость бытия, это ликование жизни, это вдохновение — иначе и не скажешь? Оно приходит, когда пищеварение в порядке, желудок работает исправно, аппетит остёр и всё идёт как надо. Это взятка за то, что живёшь, шампанское в крови, пена брожения. От неё одни принимают думать о святом, а другие видят Бога или, если не могут увидеть, создают его. Вот и всё: опьянение жизнью, шевеление и расползание дрожжей, бессвязная болтовня жизни, обезумевшей от сознания, что она жива. И... тьфу! Завтра я расплачусь за это, как расплачивается пьяница. И буду знать, что должен умереть, скорее всего в море. Перестану шевелиться сам, а моё тело закишит морской гнилью. Стану пищей, падалью. Вся сила моих мышц, всё их движение перейдёт к рыбам — к их плавникам, чешуе и

внутренностям. Тьфу! И ещё раз тьфу! Шампанское уже выдохлось. Исчезли и блеск, и пузырьки; теперь это безвкусное питьё.

Он покинул меня так же внезапно, как появился, спрыгнув на палубу тяжело и мягко, словно тигр. «Призрак» продолжал бороздить море. Я заметил, что журчание воды у форштевня и вправду похоже на храп. Пока я слушал его, впечатление от того, как стремительно Волк Ларсен перешёл от высокого ликования к отчаянию, понемногу рассеялось. Тогда один из матросов, стоявший посреди судна, запел звучным тенором «Песню пассата»:

— Я ветер, любимый моряками. Я ровный, сильный и верный. Они идут по моему следу, глядя на облака над бездонной тропической синевой.

И днём и во тьме я следую за судном, держась его следа, словно гончая. Сильнее всего я в полдень, но и под луной туго наполняю середину его паруса.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Порой мне кажется, что Волк Ларсен безумен или, по крайней мере, наполовину безумен: так странно меняются его настроения, так причудливы его выходки. В другие минуты я вижу в нём великого человека, гения, который так и не сумел раскрыть себя. А потом убеждаюсь, что передо мной первобытный человек в самом чистом виде, родившийся на тысячу лет, а то и поколений, позже своего времени — чужой нынешнему веку, когда цивилизация достигла вершины. Он, несомненно, крайний индивидуалист. И к тому же очень одинок. Ни с кем из людей на судне у него нет душевной близости. Необычайная жизненная сила и мощь ума отделяют его от остальных стеной. Все они для него словно дети, даже охотники. И обращается он с ними как с детьми: поневоле спускается до их уровня и забавляется ими, как взрослый забавляется щенками. А иной раз с жестокостью вивисектора нащупывает ход их мыслей, исследует их души, будто хочет узнать, из чего сделана душа.

Раз двадцать я видел, как за столом он оскорблял то одного охотника, то другого и смотрел на них спокойно, прямо, с каким-то любопытством. Он следил за их поступками, ответами, мелочными вспышками злости с таким интересом, что мне, стороннему наблюдателю, понимавшему происходящее, становилось почти смешно. Что до его собственных

приступов ярости, я убеждён: они ненастоящие. Иногда он ставит опыт, но чаще просто следует избранной им манере держаться с людьми. За исключением, возможно, случая с умершим помощником капитана, я ни разу не видел его по-настоящему разгневанным. И не хотел бы увидеть, как он впадает в подлинную ярость и пускает в ход всю свою силу.

Раз уж я заговорил о его причудах, расскажу, что произошло с Томасом Магриджем в кают-компании, и заодно доведу до конца историю, которой уже раз или два касался. Однажды после полуденного обеда я как раз закончил прибирать кают-компанию, когда по трапу спустились Волк Ларсен и Томас Магридж. У кока была крохотная каюта, дверь которой выходила сюда, но задерживаться в самой кают-компании или попадаться кому-либо на глаза он прежде не смел. Раз или два в день он проскальзывал через неё робким призраком.

— Так вы умеете играть в «Нап», — говорил Волк Ларсен с явным удовольствием. — Мог бы и догадаться, что англичанин знает эту игру. Я сам научился ей на английских судах.

Томас Магридж был вне себя от счастья: капитан держался с ним по-приятельски, и кок совсем обезумел от восторга. Он напускал на себя важность и мучительно старался держаться с непринуждённостью человека, с рождения привыкшего к почтенному положению. На это было бы тошно смотреть, если бы не было так смешно. Моего присутствия он вовсе не замечал; впрочем, думаю, он и впрямь был не в силах

меня увидеть. Его бледные, водянистые глаза покачивались, словно сонное летнее море, но какие счастливые видения открывались ему, я и представить не мог.

— Принеси карты, Хамп, — распорядился Волк Ларсен, когда они уселись за стол. — И достань сигары и виски: они у меня в каюте.

Я вернулся с заказанным как раз вовремя, чтобы услышать, как кок весьма прозрачно намекает на тайну своего происхождения: возможно, он сын джентльмена, сбившийся с пути, или что-то в этом роде. Кроме того, ему будто бы регулярно присылают деньги, лишь бы он держался подальше от Англии. «И платят щедро, сэр, — говорил он. — Щедро платят, чтобы я убрался и больше носа туда не казал».

Я принёс обычные рюмки, но Волк Ларсен нахмурился, покачал головой и жестом велел мне подать стаканы. Он налил в каждый виски на две трети, не разбавляя. «Напиток для джентльмена?» — осведомился Томас Магридж. Они чокнулись за славную игру в «Нап», закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты.

Играли на деньги. Ставки росли. Они пили неразбавленный виски, а я приносил ещё. Не знаю, плутовал ли Волк Ларсен, хотя он вполне был на это способен, но выигрывал он без перерыва. Кок то и дело ходил к своей койке за деньгами. С каждым разом он вышагивал всё развязнее, однако приносил не больше нескольких долларов. Он раскис от выпивки, фамильярничал, с трудом различал карты и едва си-

дел прямо. Собираясь в очередной раз отправиться к койке, он засаленным указательным пальцем зацепил петлицу Волка Ларсена и тупо твердил: «У меня есть деньги, говорю вам, есть деньги, и я сын джентльмена».

На Волке Ларсене выпитое ничуть не сказалось, хотя он пил стакан за стаканом наравне с коком, а наливал себе, пожалуй, даже больше. Он нисколько не изменился. Выходки собутыльника, казалось, его даже не забавляли.

Наконец, громко уверяя, что умеет проигрывать как джентльмен, кок поставил последние деньги — и проиграл. Тогда он опустил голову на руки и заплакал. Волк Ларсен посмотрел на него с любопытством, словно собирался препарировать и его, но передумал: видно, заранее решил, что исследовать там нечего.

— Хамп, — обратился он ко мне с подчёркнутой учтивостью, — будьте любезны взять мистера Магриджа под руку и помочь ему подняться на палубу. Он неважно себя чувствует.

— И скажи Джонсону, пусть окатит его несколькими ведрами солёной воды, — добавил он тише, так, чтобы слышал только я.

На палубе я передал мистера Магриджа двум ухмылявшимся матросам, которым поручили им заняться. Мистер Магридж сонно брызгал слюной и твердил, что он сын джентльмена. Но, когда я спустился по трапу убирать со стола, до меня донёлся его пронзительный крик: на него вылили

первое ведро.

Волк Ларсен пересчитывал выигрыш.

— Ровно сто восемьдесят пять долларов, — произнёс он вслух. — Так я и думал. Этот нищий поднялся на борт без гроша.

— А всё, что вы выиграли, принадлежит мне, сэр, — смело сказал я.

Он одарил меня лукавой улыбкой и сказал: «Хамп, мне случалось заниматься грамматикой, и, по-моему, вы путаете времена. Надо сказать „принадлежало мне“, а не „принадлежит мне“».

— Дело тут не в грамматике, а в этике, — ответил я.

Он заговорил, должно быть, лишь через минуту.

— Знаете, Хамп, — сказал он медленно и серьёзно, с неуловимой печалью в голосе, — я впервые слышу слово «этика» из уст человека. Мы с вами единственные на этом судне, кто понимает, что оно значит.

— Когда-то, — продолжил он после новой паузы, — я мечтал, что однажды смогу беседовать с людьми, которые употребляют такие слова. Мечтал вырваться из той среды, в которой родился, встречаться с людьми и разговаривать с ними о таких вещах, как этика. И вот я впервые услышал это слово вслух. Впрочем, я отвлёкся. Вы ошибаетесь. Дело не в грамматике и не в этике, а в факте.

— Понимаю, — сказал я. — Факт состоит в том, что деньги у вас.

Лицо его просветлело. Моя догадливость, казалось, пришлась ему по душе. Я продолжил: «Но так мы обходим главный вопрос: вправе ли вы оставить деньги себе?»

— А-а, — произнёс он, скривив рот. — Значит, вы всё ещё верите в добро и зло.

— А вы разве нет? Совсем нет? — спросил я.

— Ни капли. У кого сила, тот и прав. Слабый неправ. Хотя сказано неуклюже. Лучше так: человеку хорошо быть сильным и плохо быть слабым. Или ещё точнее: сила доставляет удовольствие, потому что приносит выгоду; слабость причиняет страдание, потому что за неё приходится расплачиваться. Сейчас мне приятно владеть этими деньгами. Иметь их — благо для меня. Раз я могу оставить их себе, то, отдав их вам и лишившись удовольствия владеть ими, я причиню зло себе и той жизни, что во мне.

— Но, утаивая это от меня, вы причиняете мне зло, — возразил я.

— Ничуть. Один человек не может причинить зло другому. Только самому себе. По-моему, я поступаю дурно всякий раз, когда принимаю в расчёт чужие интересы. Понимаете? Разве две частицы дрожжей могут причинить друг другу зло, стараясь пожрать одна другую? Им от природы свойственно пожирать и не давать пожрать себя. Отступить от этого — значит согрешить.

— Значит, вы не верите в альтруизм? — спросил я.

Слово показалось ему знакомым, но он задумался над

ним. — Погодите-ка, это что-то связанное с сотрудничеством?

— В некотором смысле эти понятия связаны, — ответил я. Такие пробелы в его словаре уже не удивляли меня. Как и все свои знания, новые слова он черпал из книг сам, без наставника. Никто не направлял его занятий; он много думал, а говорил мало или вовсе ни с кем не говорил. — Альтруистический поступок совершается ради блага других. Он бескорыстен, в отличие от поступка ради собственной выгоды.

Он кивнул. — А, да, теперь вспомнил. Встретил это слово у Спенсера.

— У Спенсера! — воскликнул я. — Вы его читали?

— Не так уж много, — признался он. — В «Основных началах» я понял довольно многое, но его «Биология» выбила у меня ветер из парусов, а после «Психологии» я ещё много дней беспомощно кружил в штиле. Честно говоря, никак не мог понять, к чему он клонит. Сначала решил, что мне недостаёт ума, но потом понял: не хватало подготовки. У меня не было нужной основы. Только мы со Спенсером знаем, сколько я над ним бился. Зато из «Данных этики» я кое-что вынес. Там мне и попалось слово «альтруизм». Теперь я вспомнил, в каком смысле оно употреблялось.

Я гадал, что этот человек сумел извлечь из такого труда. Спенсера я помнил достаточно хорошо, чтобы знать: альтруизм необходим для его идеала высшего нравственного поведения. Волк Ларсен, очевидно, просеял учение великого фи-

лософа: оставил то, что отвечало его нуждам и желаниям, а остальное отбросил.

— А что ещё вы там вычитали? — спросил я.

Он слегка сдвинул брови, подбирая слова для мыслей, которых прежде никогда не высказывал. Я ощутил душевный подъём. Теперь я проникал в его душу, как он привык проникать в чужие. Передо мной открывалась неизведанная область — странная, пугающе странная.

— Если говорить как можно короче, — начал он, — у Спенсера выходит примерно так. Прежде всего человек должен действовать ради собственного блага: это нравственно и хорошо. Затем — ради блага своих детей. И, наконец, ради блага всего человеческого рода.

— А самый высокий, самый достойный поступок, — вставил я, — тот, который одновременно приносит пользу самому человеку, его детям и всему человеческому роду.

— Вот с этим я не согласен, — ответил он. — Не вижу тут ни необходимости, ни здравого смысла. Детей и человеческий род я вычеркнул. Ничем ради них жертвовать не стану. Всё это слюни и сантименты. Вы и сами должны это понимать, во всяком случае, когда речь идёт о человеке, который не верит в вечную жизнь. Жди меня бессмертие, альтруизм был бы выгодным делом. Я мог бы вознести свою душу на какие угодно высоты. Но впереди у меня нет ничего вечного, кроме смерти. Мне отпущен лишь краткий срок этого дрожжевого копошения, которое зовётся жизнью. Так с ка-

кой стати мне жертвовать хоть чем-нибудь? Любая жертва с моей стороны была бы безнравственна. Жертва, из-за которой я лишусь хоть одного шевеления, хоть одного извива, глупа. И не просто глупа: это зло, причинённое самому себе, дурной поступок. Чтобы взять от брожения всё возможное, я не должен упустить ни одного шевеления, ни одного извива. А вечная неподвижность, которая меня ждёт, не станет ни легче, ни тяжелее от того, жертвовал я собой или заботился лишь о себе, пока бродил и копошился.

— Значит, вы индивидуалист, материалист и, если быть последовательным, гедонист.

— Мудрёные слова! — улыбнулся он. — А кто такой гедонист?

Когда я объяснил, он согласно кивнул. — И ещё, — продолжал я, — вам нельзя доверять даже в мелочи, если тут может затронуться ваша выгода?

— Вот теперь вы начинаете понимать, — сказал он, оживившись.

— У вас совершенно нет того, что люди называют моралью?

— Именно.

— Вас всегда следует опасаться...

— Вот так и надо сказать.

— Как опасаются змеи, тигра или акулы?

— Теперь вы меня знаете, — сказал он. — И знаете таким, каким меня обычно знают. Другие зовут меня Волком.

— Вы своего рода чудовище, — дерзко добавил я, — Калибан, поразмысливший о Сетевосе и поступающий в часы досуга как вздумается.

При этом намёке он нахмурился. Он не понял меня, и я вскоре выяснил, что стихотворение ему незнакомо.

— Я как раз читаю Браунинга, — признался он, — и продираюсь с трудом. Далеко ещё не ушёл, а уже почти потерял курс.

Не стану утомлять подробностями: я принёс книгу из его каюты и прочёл вслух «Калибана». Он пришёл в восторг. Первобытный взгляд на мир и такой же ход мысли были ему отлично понятны. Он снова и снова прерывал меня замечаниями и возражениями. Когда я закончил, он попросил прочесть стихотворение ещё раз, а потом и в третий. Мы разговорились — о философии, науке, эволюции, религии. В его суждениях обнаруживались неточности человека, учившегося по книгам без наставника, но вместе с ними — надо отдать ему должное — уверенность и прямота первобытного ума. Именно простота придавала силу его рассуждениям. Его материализм убеждал куда сильнее, чем тонкий и сложный материализм Чарли Фэрасета. Не то чтобы он мог убедить меня, убеждённого идеалиста, идеалиста по складу души, как выражался Фэрасет. Но последние оплоты моей веры Волк Ларсен штурмовал с напором, который вызывал уважение, хотя и не заставлял меня сдаться.

Время шло. Приближался ужин, а стол оставался нена-

крытым. Я занервничал. Когда в проёме сходного трапа показалось злое, болезненное лицо Томаса Магриджа и он свирепо уставился на нас сверху, я собрался вернуться к своим обязанностям.

Но Волк Ларсен крикнул ему:

— Кок, сегодня тебе придётся повертеться. Я занят с Хампом, так что управляйся без него как можешь.

И тут случилось ещё одно небывалое событие. В тот вечер я сидел за столом с капитаном и охотниками, а Томас Магридж прислуживал нам и потом мыл посуду. Это была прихоть Волка Ларсена, настроение Калибана, и я предвидел, что оно навлечёт на меня неприятности. Пока же мы всё говорили и говорили, к великому неудовольствию охотников, которые не понимали ни слова.

ГЛАВА IX

Три дня отдыха — три благословенных дня отдыха — провёл я с Волком Ларсеном. Я ел за столом в кают-компании и только и делал, что беседовал с ним о жизни, литературе и мироздании. А Томас Магридж кипел от злости и выполнял вдобавок к своей ещё и мою работу.

— Берегись шквалов, вот всё, что я могу тебе сказать, — предупредил меня Луис. У нас выдалось свободных полчаса на палубе, пока Волк Ларсен разбирал ссору между охотниками.

— Никогда не знаешь, чего ждать, — продолжал Луис, когда я попросил его объяснить яснее. — Этот человек переменчив, как ветер или течение. Не угадаешь, куда его понесёт. Только решишь, что понял его и поймал попутный ветер, — глядишь, он уже повернул прямо на тебя, налетел с воём и изорвал в клочья все твои паруса.

Поэтому шквал, предсказанный Луисом, не застал меня совсем уж врасплох. Мы горячо спорили — разумеется, о жизни, — и я, осмелев сверх меры, принялся сурово судить Волка Ларсена и его жизнь. По сути, я препарировал его душу с той же беспощадной тщательностью, с какой он сам привык разбирать других людей. Возможно, мой недостаток — привычка говорить слишком резко; на этот раз я отбросил всякую сдержанность и резал по живому, пока он весь не

ощетинился. Тёмный загар на его лице словно почернел от гнева, глаза пылали. В них не осталось ни ясности, ни рассудка — одна ужасающая ярость безумца. Передо мной был волк, и волк бешеный.

С глухим рёвом он бросился ко мне и схватил за руку. Я приготовился не показывать страха, хотя внутри весь дрожал; но перед его чудовищной силой моя решимость не устояла. Одной рукой он стиснул мне бицепс. Когда пальцы сжались крепче, я обмяк и закричал. Ноги перестали меня держать. Я попросту не мог стоять и переносить эту муку. Мышцы отказались повиноваться. Боль была невыносимой. Мой бицепс превращался в месиво.

Казалось, он опомнился: в глазах мелькнула осмысленность, и он разжал пальцы, коротко рассмеявшись — почти прорывав. Я упал на пол, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание, а он сел, закурил сигару и стал наблюдать за мной, как кошка за мышью. Корчась от боли, я видел в его глазах знакомое любопытство: удивление, недоумение, неустанное стремление доискаться до сути. Всё тот же вечный вопрос: что же всё это значит?

Наконец я кое-как поднялся и взобрался по трапу. Хорошая погода кончилась; мне оставалось вернуться на камбуз. Левая рука онемела, точно её парализовало. Прошло несколько дней, прежде чем я снова смог ею пользоваться, и несколько недель, прежде чем исчезли последние следы скованности и боли. А ведь он всего лишь взял меня за руку и

сжал. Не выкручивал её, не дёргал — просто стиснул с ровной, неослабевающей силой. На что он был способен, я до конца понял только на следующий день, когда он заглянул в камбуз и в знак вернувшегося дружелюбия спросил, как моя рука.

— Могло быть и хуже, — сказал он с улыбкой.

Я чистил картошку. Он взял из таза одну картофелину — довольно крупную, твёрдую, ещё не очищенную. Стиснул её в ладони, и между пальцами брызнула картофельная мякоть. Раздавленные остатки он бросил обратно в таз и ушёл. Тут я с пугающей ясностью представил, что стало бы со мной, приложи это чудовище всю свою силу.

И всё же три дня отдыха пошли мне на пользу: колено получило необходимую передышку. Ему стало гораздо лучше, опухоль заметно спала, и коленная чашечка, казалось, возвращалась на своё место. Но отдых принёс и неприятность, которую я предвидел. Томас Магридж явно намеревался заставить меня расплатиться за эти три дня. Он обращался со мной мерзко, бранился без конца и сваливал на меня свою работу. Однажды он даже занёс надо мной кулак, но я и сам начинал дичать и так свирепо оскалился ему в лицо, что он, должно быть, испугался. Неприятно мне вспоминать себя, Хамфри Ван-Вейдена, в том зловонном судовом камбузе. Я скорчился в углу над работой и поднял лицо к существу, готовому меня ударить. Губы обнажили зубы, точно в собачьем оскале, а в глазах горели страх, бессилие и та отвага, кото-

рую рождают страх и бессилие. Мне не по душе эта картина. Слишком уж я похож в ней на крысу в ловушке. Думать об этом не хочется. Но оскал подействовал: кулак так и не опустился.

Томас Магридж отступил, глядя на меня с такой же злобой и ненавистью, с какой я смотрел на него. Мы были двумя зверями, запертыми вместе и скалящими друг на друга зубы. Он был трусом и не решился ударить, потому что я не струсил так явно, как он ожидал. Тогда он выбрал другой способ меня запугать. На камбузе имелся только один по-настоящему пригодный нож. За долгие годы работы его лезвие стало длинным, тонким и узким. Нож выглядел необычайно зловеще, и поначалу я вздрагивал всякий раз, когда брал его в руки. Кок одолжил у Иогансена точильный камень и принялся затачивать нож. Делал он это напоказ, то и дело многозначительно поглядывая на меня. Целый день он водил лезвием по камню вверх и вниз. Стоило ему улучшить свободную минуту, как он снова принимался точить. Лезвие стало острым, как бритва. Он проверял его подушечкой большого пальца или проводил по нему ногтем. Сбривал волоски с тыльной стороны ладони, пристально разглядывал кромку и всякий раз находил — или делал вид, что находит — где-нибудь крошечную неровность. Потом снова прикладывал нож к камню и точил, точил, точил. Это было так нелепо, что мне хотелось расхохотаться.

Но дело было и серьёзным: я понял, что он способен пу-

ститъ нож въ ходъ. Подъ всей его трусостью таилась такая же, какъ у меня, отчаянная храбрость труса. Она могла толкнуть его именно на тотъ поступокъ, какого онъ всей душой боялся и совершать не хотѣлъ. Среди матросовъ шептались: «Кокъ точитъ ножъ для Хампа», — и кое-кто подтрунивалъ надъ нимъ. Магриджъ принималъ шутки благодушно и даже радовался имъ: загадочно кивалъ, словно заранее зналъ нечто страшное. Такъ продолжалось, пока Джорджъ Личъ, бывшій юнга, не отпустилъ на эту тему грубую шуточку.

Личъ оказался однимъ изъ матросовъ, которымъ поручили оказать Магриджа водой после его карточной игры съ капитаномъ. Судя по всему, онъ выполнилъ поручение такъ усердно, что Магриджъ не простилъ ему этого. Слово за слово — и они уже осыпали другъ друга бранью, поминая предковъ. Магриджъ пригрозилъ Личу ножомъ, который точилъ для меня. Личъ рассмеялся и отвѣтилъ ещё болѣе грубой бранью, какой научился на Телеграфномъ холмѣ. И прежде чемъ онъ или я поняли, что случилось, быстрый взмахъ ножа распоролъ ему правую руку отъ локтя до запястья. Кокъ попятился съ дьявольскимъ выраженiемъ лица, выставивъ передъ собой ножъ для защиты. Личъ же держался совершенно спокойно, хотя кровь хлестала на палубу, словно вода изъ фонтана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.